
ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ

I

В Баку я был дважды: в 1892 и в 1897 годах. Нефтяные промысла остались в памяти моей гениально сделанной картиной мрачного ада. Эта картина подавляла все знакомые мне фантастические выдумки уstraшенного разума, все попытки проповедников терпения и кротости ужаснуть человека жизнью с чертями, в котлах кипящей смолы, в неугасимом пламени адовом. Я — не шучу. Впечатление было ошеломляющее.

За несколько дней перед тем, как я впервые очутился в Баку, на промыслах был пожар, и над вышками, под синим небом, еще стояла туча дыма, такая странно плотная, тяжелая, как будто в воздух поднялось несколько десятин чернозема. Когда я и товарищ мой Федор Афанасьев, шагая по песчаной дороге, жирно пропитанной нефтью, подходили к Черному городу и я увидел вершины вышек, воткнувшиеся в дым, мне именно так и показалось: над землей образована другая земля, как бы второй этаж той, на которой живут люди, и эта вторая земля, расширяясь, скоро покроет небо вечной тьмой. Нелепое представление усилилось, окрепло при виде того, как из одной вышки бьет в тучу дыма фонтан черной грязи, точно землю стошнило и она, извергая внутреннее свое, расширяет дымно-масляную крышу над землей.

В стороне от дороги увязла в глубоком песке санитарная повозка, измазанная черным и красным; у нее сломалась ось; в повозке лежал человек, одна нога — босая, неестественно синяя, на другой — раздавленный и мокрый сапог, из него на песок падали тяжелые, темные капли; рыжеволосый возница в кожаном переднике лежал на песке, связывая ось ремнем с грязной доской; на измятой железной бочке сидел санитар, присыпая песком влажные пятна на халате. Афанасьев спросил его:

— Убитый?

— Шагай мимо, дело не твое.

Нас обгоняли и шли встречу нам облитые нефтью рабочие, блестя на солнце, точно муравьи. Обогнала коляска, запряженная парой серых, очень тощих лошадей, в коляске полулежал, закрыв глаза, человек в белом костюме, рядом с ним покачивался другой, осторобородый, в темных очках, с кокардой на фуражке, с желтой палкой на коленях. Коляску остановила группа рабочих, десятка два; сняв шапки, размахивая руками, они заговорили все сразу:

— Помилуйте! Как же это? Мы — не можем! Помилуйте!

Человек с кокардой привстал и крикнул:

— Назад! Кто вам позволил? Марш назад!

Кучер тронул лошадей, коляска покатилась, врезая колеса в песок, точно в тесто, рабочие отскочили и пошли вслед за нею, молча покрывая головы, не глядя друг на друга. Все они как будто выкупались в нефти, даже лица их были измазаны темным жиром ее. На промысел они нас не пустили, угрожая побить.

Часа два, три мы ходили, посматривая издали на хаос грязных вышек, там что-то бухало влажным звуком, точно камни падали в воду, в тяжелом, горячем воздухе плавал глуховатый, шипящий звук. Человек десять полуголых рабочих, дергая веревку, тащили по земле толстую броневую плиту, связанную железной цепью, и угрюмо кричали:

— Аа-а! Аа-аа!

На них падали крупные капли черного дождя. Вышка извергала толстый черный столб, вершина его, упираясь в густой, масляный воздух, принимала форму шляпки гриба, и хотя с этой шляпки текли ручьи, она как будто таяла, не уменьшаясь. Странно и обидно малюпкими

казались рабочие, суетившиеся среди вышек. Во всем этом было нечто жуткое, нереальное или уже слишком реальное, обезмысливающее. Федя Афанасьев, плюнув, сказал:

— Трижды с голода подохну, а работать сюда — не пойду!

...На промысла я попал через пять лет с одним из сотрудников газеты «Каспий»; он обещал рассказать мне подробно обо всем, но, когда мы приехали в Сураханы, познакомил меня с каким-то очень длинным человеком, а сам исчез.

— Смотрите, — угрюмо сказал мне длинный человек и прибавил еще более угрюмо: — Ничего интересного здесь нет.

Весь день, с утра до ночи, я ходил по промыслу в состоянии умопомрачения. Было неестественно душно, одолевал кашель, я чувствовал себя отравленным. Плутая в лесу вышек, облитых нефтью, видел между ними масляные пруды зеленовато-черной жидкости, пруды казались бездонными. И земля, и всё на ней, и люди — обрызганы, пропитаны темным жиром, всюду зеленоватые лужи напоминали о гниении, песок под ногами не скрипел, а чмокал. И такой же чмокающий, сосущий звук «тартанья», истекая из нутра вышек, наполняет пьяный воздух чавкающим шумом. Скрипит буровая машина, гремит железо под ударами молота. Всюду суетятся рабочие: тюрки, русские, перетаскивают с места на место длинные трубы, штанги, тяжелые плиты стали. Всюду валялась масса изломанного, изогнутого железа, извивались по земле размотанные, раздерганные проволочные тросы, торчали из песка куски разбитых труб и — железо, железо, точно ураган наломал его.

Рабочие вызывали впечатление полупьяных; раздраженно, бесцельно кричали друг на друга, и мне казалось, что движения их неверны. Какой-то, очень толстый, чумазый, бросился на меня и хрипло заорал:

— Что же ты, дьявол, желонку...

Но увидав, что я — не тот человек, побежал дальше, ругаясь и оставив в памяти моей незнакомое слово — желонка.

Среди хаоса вышек прижимались к земле наскоро сложенные из рыжеватых и серых неотесанных камней длин-

ные, низенькие казармы рабочих, очень похожие на жилища доисторических людей. Я никогда не видел так много всякой грязи и отбросов вокруг человеческого жилья, так много выбитых стекол в окнах и такой убогой бедности в комнатках, подобных пещерам. Ни одного цветка на подоконниках, а вокруг ни кусочка земли, покрытой травой, ни дерева, ни кустарника. Жутко было смотреть на полуголых детей, они месили ногами зеленоватую, жирную слизь в лужах, группами по трое, по пяти уныло сидели в дверях жилищ, прижавшись друг к другу, играли на плоских крышах обломками железа, щепками. Как все вокруг, дети тоже были испачканы нефтью, их чумазые рожицы, мелькая повсюду; напоминали мрачную сказку о детях в плену братьев-людоедов и рассказ древнего географа Страбона о том, как Александр Македонский пробовал горючесть нефти: он приказал облить ею мальчика и зажечь его.

Плотники тесали бревно, поблескивая щекастыми топорами, строилась еще одна буровая вышка, по скелету ее влезал чернобородый мужик, босой, без рубахи. Он держал в зубах конец веревки, а руками хватался за ребра вышки и тяжело, неловко лез все выше; на земле, в луже грязи оливкового цвета, стоял старичок со связкой веревки в руках, разматывая ее, — похоже было, что он запускает бумажного змея.

— На небо не залезь, — крикнул он чернобородому, а тот, сверху, густо, громко и серьезно ответил:

— Не бойсь.

Эти слова тоже остались в памяти, должно быть, потому, что все вокруг кипело мрачным раздражением, все люди казались неестественно возбужденными, хотя, может быть, это впечатление внушила мне книга, — я где-то прочитал, что нефть обладает наркотическими свойствами.

На одном участке, в стороне от наиболее тесной группы вышек, сотни две людей работали особенно бешено, командовал ими широкоплечий детина в белом халате, в тубейке, обрызганный нефтью, точно маляр краской. Размахивая длинными руками и ни на минуту не закрывая волосатый рот, он истерически орал матерщину, сопровождая ею каждое слово, руками толкал рабочих в спину, в шею, раздавал пинки ногами, одного схватил за плечо и бросил на землю, точно кошку.

— Нагибай! — взвизгивал он и ругался трехэтажно. —
Клади! — и снова ругался. — Двигай!

Не видно было, что делает воюющий клубок людей, мне казалось, что большинство их ничего не делает, подпрыгивая, толкая друг друга, заглядывая через плечи стоявших впереди в центре толпы, где «нагибали», «двигали» что-то и тоже ругались. Казалось, что все эти люди испуганы возможностью катастрофы и бьются над тем, чтоб предупредить ее. А издали картина промысла и работы на нем создавала странное впечатление: на деревянный город напали враги, племя черных людей, и разрушают, грабят его. Я ушел в поле очумевшим, испытывая анархическое желание поджечь эти деревянные пирамиды, пропитанные черным жиром земли, поджечь, чтоб сгорели не только пруды темнооливковой масляной грязи в карьерах, но воспламенился весь жир в недрах земли и взорвал, уничтожил Сураханы, Балаханы, Романы, всю эту грязную сковороду, на которой кипели, поджаривались тысячи измученных рабочих людей.

Утром, стоя на корме шкуны, я с таким же чувством ненависти смотрел на город, гораздо более похожий на развалины города, на снимки разрушенной, мертвой Помпеи, — на город, где среди серых груд камня возвышалась черная, необыкновенной формы, башня древней крепости, но где не видно было ни одного пятна зелени, ни одного дерева, а песок немощеных улиц, политый нефтью, приобрел цвет железной ржавчины. В этом городе не было воды, — для богатых ее привозили за сто верст в цистернах, бедняки пили опресненную воду моря. Дул сильнейший ветер, яркое солнце освещало этот необыкновенно унылый город, пыль кружилась над ним. Казалось, что нагромождение домов с плоскими крышами высушено солнцем и рассыпается в прах. Маленькие фигурки людей на берегу, становясь все меньше, сохнут, сторают и тоже скоро обратятся в пыль.

На промысла Азнефти я поехал рано утром, прямо с вокзала, вместе с товарищем Румянцевым, помощником заведующего промыслами. Он — один из тех рабочих, которые воспитывались подпольем, затем — на фронтах,

в битвах с белыми, работали в тылу врагов и побывали в «гуманных» руках защитников «культуры и свободы». Эти гуманные руки, обвязав череп товарища Румянцева пеньковой веревкой, закручивали ее клячом так, что лопнул черепной шов. Сколько слышал я таких рассказов о пытках! Сотни...

Едем не быстро. Товарищ Румянцев эпически спокойным тоном повествует о прошлом.

— В Ельце Мамонтов приказал собрать наиболее красивых девиц города; сначала их изнасиловали офицера, потом отдали казакам, а казаки, использовав девиц, привязали их за косы к хвостам коней и, стащив в реку Сосну, утопили.

— В Кизляре белые, выкинув из окон второго этажа тяжело раненных красноармейцев, заставили легко раненных, раздев их догола, отвозить убитых товарищей за город, в овраг. А — была зима. Оставшихся в живых перебили.

Рассказы звучат так просто и спокойно, точно все это было не десять лет тому назад, а — сто. Слушая, я вспоминаю рассказ другого товарища, — очень мудрый рассказ:

— К белым я попадал трижды. Май-Маевский распорядился повесить меня, — не вышло, убежал я, хотя был здорово избит. У генерала Покровского тоже побывал, — вот это зверь! Тут меня так избивали, что сочли мертвым, так и спасся. Под Самарой провалился, тоже здорово попало, тогда я ушел к своим с конвоем, — славные ребята! Четверо.

Вздохнув, он сказал:

— Зверье — люди! Конечно, если и наши ребята вернуться, так уж... держись за свою шкуру крепче! Но мы все-таки люди классовой ненависти, а личная у нас...

Он подумал и нашел слово:

— Не живуча. Потому — нам не за что мстить, ну, а мы у них «горшки перебили», как сказал Ильич, так они за это мстят, за горшки. Нам вот случается работать под началом бывших врагов, а — ничего!

Он снова помолчал и, улыбаясь, толкнул меня локтем.

— Вы, товарищ, хотя и не рабочий, а правильно понимаете, что такое труд, — это к чести вашей. Замечательно объединяет людей работа, — честных, конечно, верующих

в наше дело и в победу. Я говорю про работу на будущее, на наше государство. Она захватывает и большую силу придает. Главное — объединяет изнутри, вот что...

Он вдруг оживился и очень связно, с хорошей усмешкой, рассказал:

— Я работаю с личным врагом, он меня в девятнадцатом году ручкой револьвера по голове колотил, на его глазах с меня шомполами кожу драли. А теперь он — мое начальство, работаем мы с ним, как два коня в одной упряжи, и — друзья! Даже не верится, что врагами были, да и вспоминать об этом неловко. Мне — за него тяжело, а ему — передо мной. Ну, все же, иной раз, вспоминаем, — для молодежи поучительно. Крепко он приснастился к нам. Умник, образованный, а — главное, энергии у него, чорта, — на хороший десяток людей. А тоже — и рублен, и строган, и пулей сверлен. Замечательный парень.

Выслушав этот необыкновенный рассказ, я подумал:

«Вот прекрасная тема для молодых писателей: труд «на будущее», уничтожающий личную ненависть коренных врагов, — труд, который объединяет их в процессе создания новой культуры».

Едем уже по территории промыслов. Я оглядываюсь и, разумеется, ничего не узнаю, — сильно разрослись промысла, изумительно широко! Но еще более изумляет тишина вокруг. Там, где я ожидал снова увидеть сотни выпачканных нефтью, ненормально возбужденных людей, — люди встречаются редко, и это, чаще всего, строительные рабочие — каменщики, плотники, слесаря. Там и тут они возводят здания, похожие на бастионы крепостей, ставят железные колонны, строят леса, месят цемент. По необозримой площади промыслов ползают, позвякивая сцеплениями, железные тяжи; вышек стало значительно меньше, но повсюду качаются неуклюжие «богомолки», почти бесшумно высасывая нефть из глубин земли. В деревянном сарайчике кружится на плоскости групповой привод, протягивая во все стороны, точно паук, длинные, железные лапы. У двери сарая лежит на скамье и дремлет смазчик, старенький тюрк в синей куртке и таких же шароварах. Рабочих, облитых черным жиром, не видно нигде. И нет нигде жилищ доисторического вида — этих приземистых, грязных казарм, с выбитыми стеклами в окнах нет полу-

голых детей, сердитых женщин, не слышно истерических криков и воя начальства, только лязгает, поскрипывает железо тяжей и кланяются земле «богомолки». Эта работа без людей сразу создает настроение уверенности, что в близком будущем люди научатся рационализировать свой труд во всех областях.

И совершенно ясно, что Румянцев, да и все тут, стараются скрыть свою законную гордость достигнутыми успехами, что все искренно заинтересованы независимостью впечатлений гостя и ничего не хотят подсказывать ему. Они не забывают сказать:

— Это было до нас. Это тоже было, здесь мы только увеличили количество котлов. Это — старый завод, тут нами поставлены новые холодильники.

Возможно, что не холодильники, а что-то другое. Я никогда не записываю того, что слышу и вижу, надеясь на мою зрительную память и вообще на умение помнить.

Чем больше ходил я по промыслам, тем более удивляло меня незначительное, в сравнении с прошлым, количество рабочих на этой огромной площади, где железо, камень и бетон вытеснили деревянные вышки. Куда ни взглянешь — всюду цистерны, железные колонны, связанные дугообразными трубами, всюду растут каменные стены. И нигде нет этой нервной, бешеной суеты, которую я ожидал увидеть, нет пропитанных нефтью людей, замученных и крикливых, нет скоплений железного лома. Создается впечатление строительства монументального, спокойной и уверенной работы надолго; сказать: «на века» — уже нельзя в наше время фантастически быстрого роста промышленной техники.

Под открытым небом свирепо гудит ряд котлов, нагревая железную коробку объема двух или трех вагонов, коробка опоясана трубами и над нею — гребень изогнутых труб.

— В коробке греется нефть, — объясняют мне. — С другой стороны вы увидите, что мы получаем из этого.

С другой стороны я вижу масляные цветные ручьи от золотисто-рыжего до почти бесцветного.

За истечением этих ручьев наблюдает один человек, такой спокойный, домашний, в халате, точно доктор. За котлами следили трое рабочих. Странный завод.

На языке моем вертелся вопрос, давно и глубоко волновавший меня:

«Чувствует ли себя рабочий — и в какой мере чувствует — хозяином?»

Не веря моим впечатлениям, вопрос этот я ставил и пред рабочими и пред людьми, которые идут во главе рабочей массы, идут в ногу с нею, в хвосте ее. Соответственно физической позиции каждого, ответы получались утвердительные, неопределенные, отрицательные, и в каждом из них, разумеется, была своя субъективная правда. Но я знаю, что среди нас мало мастеров, которые не верили бы, что они работают хорошо; не очень много людей, которые, делая свое небольшое дело, ясно сознают значение своей работы в общем потоке труда, обновляющего жизнь, и, наконец, немало людей, утомленных работой, сделанной ими, немало разочарованных. Последние как будто ожидали, что тотчас, вслед за понедельником, снова наступит воскресенье, а пять трудовых дней уже навсегда вычеркнуты из жизни. Так что разнообразные ответы на мой вопрос ничего не прибавили к моим личным впечатлениям до Баку и ничего не отняли у них. Естественно, что я хотел поставить этот вопрос, но не успел, не нашел времени сделать это и дождался, что мне ответил случай, ответил, на мой взгляд, очень объективно.

Когда мы осматривали новый масляный завод, — тяжелый, горячий воздух над нами вдруг негромко, но глубоко вздохнул, в нем как бы лопнуло что-то, и чрез дорогу от завода, над группой труб, железных колонн, цистерн взлетело курчавое, черно-серое облако.

— Эх, бензин, — вскричал кто-то сзади меня.

Через минуту, мы, человек пять, стояли в двух десятках шагов от картины, которую я никогда не забуду: в тупике, между каменной стеной, железной колонной, отбензинивающей трубчатки, и белой цистерной, принимавшей бензин, бушевал поток странно белого, почти бесцветного огня, а в огонь совались, наклоняясь над ним, накрывая его чем-то, рабочие, человек пятнадцать, тюрки и русские; седобородый тюрк командовал:

— Давай кошма, давай! Скор-ро!

Я никогда не видел, чтоб огонь гасили так яростно, с такой бесстрашной дерзостью, с таким пренебрежением

к боли ожогов, — в этой дружной, ловкой работе было что-то непонятное мне. Поток огня стремился к цистерне, а в ней, — как мне потом сказали, — было несколько тысяч пудов бензина.

Рабочие гасили огонь так, как будто это была хорошо знакомая, привычная работа. Не заметно было испуга на озабоченных лицах, не было и бестолковой суеты, обычной на пожарах. Синеволосый тюрк смачивал кошмы в рыжей воде канавы, их выхватывали у него ловкие, сильные руки, кошма быстро подвигалась в сторону огня и покрывала его.

— Довольно кошем, хватит, — крикнул кто-то, хотя огонь не иссякал, тогда тюрк сам подбежал к огню и накрыл его кошмой, точно птицу сетью.

— Знаим, знаим, — покрикивал он, прижимая кошму ногами, а из-под нее его хватали за ноги языки белого пламени. Кто-то из рабочих говорил:

— Переломилась, упала... перебила отводящую трубку, дала искру...

Ворвался автомобиль, огромная красная бочка, и тотчас из брандспойта, развернутого с поразительной быстротой, в огонь потекла рыжая пена. Щеголевато одетые, медноголовые люди пожарной команды деловито закричали:

— Отходи прочь, не мешай, ребята!

Я наблюдал внимательно. На своем веку много видел я пожаров, и всегда они вызывали бестолковую, бессмысленную суету. Повторяю, что быстрота, с которой рабочие бросились на огонь, ловкость, с которой они тушили его, и то, что они делали это без лишнего шума и крика, не мешая друг другу, с какой-то немецкой выдержкой, — все это было ново для меня и очень удивительно. Огонь тоже был бесшумен, он шипел лишь тогда, когда встречался с рыжей пеной лакричного корня, когда она душила его густотой ее кружева. С огнем покончили в 12 минут.

...Мы — на Биби-Эйбате, где люди отнимают у моря часть его площади для того, чтоб освободить из-под воды нефтеносную землю. Каменная плотина отрезала у Каспия большой кусок, образовался тихий пруд, среди него дерзко возвышаются клетки буровых вышек, в клетках

возится, поскрипывает железо, просверливая морское дно, мощные насосы выкачивают мутнозеленоватую воду пруда в море, взволнованное дерзостью людей. В него непрерывно льются две сердито кипящие струи, каждая толщиной в десятивершковое бревно. Под шум этих не очень «поэтических» струй мне рассказывают нечто легендарное об инженере, кажется, Потоцком, который совершенно ослеп, но так хорошо знает Биби-Эйбат, что безошибочно указывает по карте места работ и точки, откуда следует начать новые работы.

Стучит мотор, покрикивают рабочие, шипит вода. Вдали, за бухтой, на серой горе, тоже стоят новенькие буровые, от одной из них к морю, вниз, тянется черная бархатная полоса ценнейшего жира земли.

Фантастики я видел уже немало на Днепрострое, в Москве, здесь, — как всюду, — ее воплощают в железо, она превращается в мощную реальность, говорит о величии разума и о том, что недалеко время, когда рабочий класс Европы тоже почувствует себя единственным законным владельцем всех сокровищ земли и начнет вот так же работать на себя, как начали эту работу в Союзе Советов...

В огромном складе различных материалов увидел человека, который шел прихрамывая, опираясь на палку.

— Кто это? — спросил я.

— Наш инженер. Хороший парень. У него нога болит, ему лежать надо, а он...

Эта заботливость о здоровье ценного работника напомнила мне Владимира Ильича. Его образ часто встает в памяти на богатой этой земле, где рабочий класс трудится, утверждая свое могущество. О нем говорят и спрашивают так, как будто он был здесь и еще придет. Из Тыринской сопки на Джульфа-Бакинской железной дороге хотят сделать голову В. Ленина, «основателя государства». Особенно часто думалось о нем в рабочих поселках Азнефти. Если б он видел это, какую радость испытал бы он... Вспомнилось, как я пришел к нему через несколько дней после разгрома Юденича, а он, крепко стиснув руку мою, весело блестя глазами, смеялся:

— Вздудли рабочие генерала? А я, признаться, думал: не сладим!

Здесь он увидал бы, что рабочие «сладили» с делом гораздо более трудным и сложным, чем генеральский набег на столицу рабочих-металлистов.

...Из всех опытов строительства жилищ для рабочих в Союзе Советов наиболее удачным мне кажется опыт Азнефти. Бакинские поселки рабочих построены прекрасно. Их, вероятно, уже не одна сотня: только в поселке имени Разина я насчитал свыше пятидесяти, не менее того — в Сураханах, Балаханах, Романах. «Эти маленькие города построены умными людьми», — вот что прежде всего думаешь о них. Издали поселок Разина похож на военный лагерь: одноэтажные домики на серой земле, точно палатки солдат, но, когда побываешь в поселке, убеждаешься, что каждый дом — «молодец на свой образец», а все вместе они — начало оригинального и красивого города. Почти каждый дом имеет свою архитектурную физиономию, и это разнообразие типов делает поселки удивительно веселыми. Каждый дом имеет террасу, выходящую в палисадник, где уже посажены деревья, цветут цветы. Широкие бетонированные улицы, водопровод, канализация, площадки для игр детей, — сделано все для того, чтобы поставить рабочих в культурные условия. В светлых, уютных комнатах газовые печи, экономно отапливающие и плиту кухни. Все очень умело и очень умно. На промыслах сохранены две-три старых казармы для того, чтоб дети видели, в каких грязных пещерах держали их отцов хозяева-капиталисты. Дома поселков построены, одноэтажными, очевидно, для того, чтоб люди наименьше страдали от свирепых ветров, которыми издревле славится район Баку. В каждом поселке семьи тюрков живут обок с русскими семьями, дети воспитываются вместе, и это возбуждает надежду, что через два десятка лет не будет ни тюрков, ни русских, а только люди, крепко объединенные идеей всемирного братства рабочих.

Да, что бы ни говорили враги Союза Советов, а его рабочий класс смело начал и хорошо продолжает «необходимейшее дело нашего века», как назвал Ромэн Роллан идею В. И. Ленина, воплощаемую в жизнь его учениками. Баку — неоспоримое и великолепное доказательство успешности процесса строения государства рабочих, создания новой культуры, — таково мое впечатление. Не-

дели через две в Сормове это отлично сформулировал один из старых рабочих; — очевидно, хороший ученик Ильича:

— На производстве наш брат обязан показать себя во всей своей силе хозяином разумнее буржуя, талантливее. Покажем это — значит: дело сделано.

В 1892 году, в Тифлисе, у В. В. Флеровского-Берви, автора книги «Положение рабочего класса в России», первой у нас книги по рабочему вопросу, автора оригинального опыта истории общечеловеческой культуры, озаглавленного «Азбука социальных наук», автора еще многих книг, а также рассказов «Философия Стеши», «Галахов», — у человека, который подавлял нас, молодежь, обширностью своих знаний и резкой нетерпимостью к чужим мнениям, — так вот у этого замечательного человека я был свидетелем такой сцены: тюрк-публицист, фамилию которого я забыл, рассказывал нам, молодежи, интересно и красиво историю города Баку. «Бакуиэ», называл он его и, помню, объяснял: «Бад» — по-персидски — город, «ку» — ветер, Баку — город ветров.

Флеровский не любил, когда при нем слушали не его, а кого-то другого. И он, автор своеобразной истории прошлого, ворчливо сказал тюрку:

— Все это — басни! Надо учиться и учить забывать прошлое.

— Я не могу забыть того, что вы сейчас сказали, а это уже прошлое, — вежливо ответил ему тюрк и спросил: — Как я узнаю себя сегодня, забыв о том, чем был вчера и кто был мой отец?

Они заспорили. Флеровский, как всегда, нетерпимо, грубовато; противник отвечал ему отлично закругленными фразами и как будто читая стихи. Эта сцена, а особенно слова тюрка, очень хорошо памятна, я точно вчера видел и слышал ее.

Может быть, молодым читателям не нравится, что я так часто возвращаюсь к прошлому? Но я делаю это сознательно. Мне кажется, что молодежь недостаточно хорошо знает прошлое, неясно представляет себе мучительную и героическую жизнь своих отцов, не знает тех

условий, в которых работали отцы до дней, когда их организованная воля опрокинула и разрушила старый строй.

Я знаю, что память моя перегружена «старьем», но не могу забыть ничего и не считаю нужным забывать. Совершенно ясно вижу перед собой ужасающую грязь промыслов, зеленовато-черные лужи нефти, тысячи рабочих, обрызганных и отравленных ею, грязных детей на крышах казарм; согнутых под тяжестью груза, «в три погибели», персов-«амбалов», грузчиков на набережной Баку; нищих на улицах города и ребятишек, которые, разинув рты, провожают взглядами восхищения богатые экипажи, на редкость красивых людей, мужчин и женщин, одетых в белое; расплывшись на сиденьях колясок, они едут куда-то против ветра, закрыв или прищулив глаза. Был «царский день», на всех домах главной улицы трепались флаги, хлопая, точно плети пастухов, где-то гудела и гремела военная музыка. Ветер изумительной силы прижимал пешеходов к стенам домов, заставлял их бежать в ту сторону, куда он дует, идущих навстречу ему останавливал, сгибал пополам, под его ударами гривы лошадей вставали дыбом, а у тех, которые пытались обогнать его, ветер зачесывал гривы вперед, и это делало морды животных чудовищными. На скрещеньях улиц покачивались монументальные фигуры полицейских в белых перчатках, помогая ветру разгонять воробьиные стаи оборванных, полуголых мальчишек. Свиреп и непримирим был ветер, и так же непримиримо было все вокруг: богатые здания набережной и полуразрушенные дома в кривых, узких улицах тюркской части города; множество нищих в лохмотьях и тяжелые люди, плотно зашитые в дорогие ткани; женщины без лиц, с головы до ног окутанные в темное, и женщины в ярких костюмах или в белом, большие и сытые, как лошади. И бесчисленные стаи чумазных, худосочных детей с воспаленными глазами.

Трудно узнать Баку, мало осталось в нем от хаотической массы унылых домов «татарской» части, которая была так похожа на кучу развалин после землетрясения. Проложены новые широкие улицы, выросли деревья, и зелень их оживила серый камень зданий; весело разрослись насаждения Приморского бульвара, шумно катаются вагоны трамвая, некоторые из них ярко, в восточном вкусе,

расписаны цветами. Нет на улицах мрачных фигур женщин, завязанных с головами в темные мешки, нет нищих, и нигде не видишь позорной непримиримости, бесстыдной роскоши и грязной нищеты. Всюду много здоровых, веселых детей, и я не мог различить, кто из них тюрк, кто русский. Даже древняя черная башня Кыз-Қаляски кажется помолодевшей и не давит город, как давила раньше, а украшает его своей оригинальной формой и затейливой кладкой, отшлифованной до блеска ветрами и масляной копотью промыслов. Каждый вечер на эстраде какого-то общественного здания играет отличный симфонический оркестр, на Приморском бульваре тоже музыка, и часто слышишь прекрасные песни тюрков. Культурной работой в Баку ревностно и увлеченно руководит человек необыкновенной энергии, кажется, уже заработавший себе туберкулез. Горят люди и, сгорая все ярче, разжигают путеводные огни к новой жизни.

Ночью я смотрел на Баку с горы, где предположено устроить ботанический сад, и был поражен изумительным обилием и красотой огней в городе, на Биби-Эйбате, где идут ночные работы, на промыслах. До этой ночи я не представлял себе картины более красивой, чем Неаполь ночью с горы Вомеро, — богатейшая россыпь отраженных водами залива крупных самоцветов, густо рассеянных по древнему городу, по его порту. Но Баку освещено богаче, более густо, и так же, как в Неаполитанском заливе, в черном зеркале Каспия отражаются тысячи береговых огней.

Дважды я был потрясен до глубины души зрелищем энтузиазма людей, разбуженных к новой жизни, зрелищем их пламенного восторга: первый раз — на московских батрацких курсах, где сто сорок батраков, кончив общеобразовательные курсы и разъезжаясь по деревням, пропели «Интернационал» с такой изумительной силой, какой я не чувствовал никогда еще, хотя и слышал, как «Интернационал» пели тысячи, — прекрасно пели, но это было пение верующих давно и крепко, а сто сорок батраков спели символ веры борцов как люди, только что и всем сердцем принявшие новую веру, и поразительной мощью звучал гимн ста сорока сердец, впервые объединенных в одно.

Но еще более, неизмеримо более глубокое впечатление пережил я на культурном празднике тюрков в Баку.

Смотрел я на этих людей, слушал их речи и не верил, что не так давно русские чиновники, пытаюсь укрепить власть царя, могли вызвать кровавую вражду тюрков и армян. Не верилось, что я, в свое время, писал об этом преступлении самодержавия, которое, провоцируя вражду племен, не брезговало гнусной работой подстрекателя к массовым убийствам. И вот вижу: повеял ветер той свободы, которую могут создать только люди труда, и кошмар прошлого рассеялся, как будто его не было; теперь нередко в тюркских школах преподают армянки, крестьяне Азербайджана пасут свой скот на склонах красивых гор Армении, и трудовой народ Союза Советов организуется в единую, творческую силу.

На многолюдном собрании рабкоров и начинающих писателей... Как всюду на таких собраниях, и в Баку я убеждался в широте и разнообразии интересов молодежи, в силе ее пытливости, в жажде знания. Когда я прочитал поданную мне записку с вопросом: «Должен ли писатель знать всю историю человечества или только своего народа?» — многие в толпе усмехнулись, а красноармеец, кажется, тюрк, громко сказал:

— Пустой вопрос. Писатель обязан знать все.

Из наиболее характерных записок я сохранил десятка два, они спрашивают:

«Как вы смотрите на наши газеты, многим из нас они кажутся тяжелыми, непонятными?» «Правда ли, что газеты портят язык?» «Почему так мало печатается популярно-научных книг?» «Был ли Ломоносов действительно великим ученым и в какой из наук?» «Верно ли, что экономист и философ Богданов — доктор и лечил переливанием крови?» «Почему у нас нет книг по истории европейской литературы, все старые?» «Переведен ли по-русски Рабле?» «В чьих руках наробраз Италии?» «Почему вам нравится Анатоль Франс?»

Но, разумеется, есть и такие наивные вопросы: «Кто первый начал утверждать, что есть бог?» «Знал ли поэт Кольцов грамматику?» «Правда ли, что наши эмигранты признают дуэль?» «Правда ли, что царь Николай Первый

сын солдата?» «Можно ли чему-нибудь научиться по словарю Брокгауз и Эфрон?» Таких курьезных вопросов — немало. Записки летят на стол, как ночные бабочки — на огонь.

Уехал я из Баку под впечатлением пожара на промысле, под впечатлением спокойной и успешной борьбы рабочих против стихийной силы, уехал с отрадным сознанием, что я видел настоящий город рабочих, где они — хозяева, как это и должно быть во всех городах, на всей земле Союза Советов, во всем мире.

По дороге в «Тифлис многобалконный» почти все станции отстроены заново, а на месте старых зданий — груды взорванного, раздробленного камня. Эта упрямая последовательность работы разрушения заставляет вообразить чудовище — огромного буйвола, который ослеп, содрогаясь от ужаса тьмы, идет прямо и, встречая по пути своему вокзалы, водопроводные башни, разрушает их, подбрасывая вверх, расковыривая рогами, растапывая копытами.

Тифлис мало изменился с той поры, как я был в нем, но окраины его — Навтлуг, Дидубэ — сильно разрослись. Просторнее, чище стало на Авлабаре, который в мое время именовался «азиатской» частью города. Расширен и превосходно обстроен знаменитый сад Муштайд, Расширяют музей Кавказа, увеличивая его втрое. Я видел только отдел зоологии и должен сказать, что его организуют образцово по наглядности, по красоте. Залы разделены огромными стеклами, задние стены каждого отделения расписаны пейзажами неплохим художником, на фоне пейзажа умело размещены флора и фауна, и все вместе дает вполне точную картину условий, в которых живет разнообразное и обильное кавказское зверье. В музее — чучело того тигра, который года три или четыре тому назад пришел откуда-то на Кавказ, вызвал немало страха и был убит, кажется, где-то под Тифлисом. Зверь весьма крупный, у него такие солидные лапы и клыки, но в стеклянных глазах есть что-то недоумевающее и даже смешное, как будто он, в минуту смерти, подумал:

«Вот влопался!»

Как везде в Союзе Советов, в Тифлисе много строят. Оживленно шумит милый грузинский народ-романтик, влюбленный в красоту своей страны, в ее солнечное вино и чудесные песни. Очень заметно — и странно — что женщины на общественных собраниях маловато.

В Музее революции меня удивило отсутствие материалов по участию грузин в народническом и народовольческом движении, по участию грузинских дружин в персидской революции, а также материалов о жизни грузин в сибирской ссылке. Во Мцхете, в грандиозном соборе, построенном в IV веке, исчезла стенопись в алтаре, могучие, в два человеческих роста, фигуры двенадцати апостолов; в алтаре мне сказали, что эту древнейшую и величавую живопись замазали известью попы. Замазаны и наивные фрески, которые изображали историю римского воина-грузина, который при дележе одежд Христа получил часть их, пошел домой, в свою Иберию, и все мертвое, к чему прикасалась одежда Христа, оживало. В. М. Васнецов в 1903 году до слез восторга любовался живописью алтаря и этими фресками. Но для восторгов художника наша действительность дает много нового материала, а старину следует охранять от разрушения для того, чтоб дети видели: в цепях каких суеверий, под гнетом какого варварства жили их отцы.

Очень красиво построена мощная силовая станция Загэс с ее монументом В. И. Ленину на скале среди Куры. Впервые человек в пиджаке, отлитый из бронзы, действительно монументален и заставляет забыть о классической традиции скульптуры. Художник очень удачно, на мой взгляд, воспроизвел знакомый властный жест руки Ильича, — жест, которым он, Ленин, указывает на бешеную силу течения Куры.

В Коджорах, на дачах тифлисских богачей — лагеря пионеров, дома отдыха, детские дома. Детей там, вероятно, более тысячи. Коджоры цвели и сверкали знаменами, медью оркестров. Там был, кажется, съезд учительниц, и часа три мы слушали великолепное исполнение ими народных песен Грузии. Особенно мастерски пели две девицы, одна — блондинка с огромными веселыми глазами и пре-

красным, неистощимым голосом, человек исключительно талантливый, так же как ее подруга, тоже искусная и неутомимая певица. Трогательно было задушевное гостеприимство учительниц, их простота и милая гордость волнующей красотой песен своего народа. Группы девушек и детей в саду, на пригорке, под ветвями старых деревьев, в сети солнечных лент напомнили мне лирическую красоту персидских миниатюр.

После этого — интереснейшая беседа с рабкорами в каком-то саду; здесь, в Тифлисе, беседа приняла характер горячего спора по вопросу о «самокритике». Убеденным сторонником беспощадного обличения ошибок власти, недостатков ее аппарата выступил рабкор — кажется, железнодорожник, человек средних лет, с лицом вояки, смелой речью, — человек, который хорошо видит сложную путаницу старого и нового. Он, должно быть, много претерпел на своем веку, немало подумал и знает людей, — это чувствовалось в каждом его слове. Он говорил:

— Надо, главное, чтоб молодежь все видела, все знала, видела бы, что мы друг с другом не миндальничаем, не гуманичаем.

Ему возразили из толпы:

— Ты меня сначала научи, как мне себя держать, а когда научишь, тогда и ругай.

— Вас — десять лет учат, а — какой вы пример молодежи? Как живете?

Он произнес небольшую, очень горячую речь о различных уродствах быта.

— Где тут новое-то, где? — обличительно покрикивал он.

В мою очередь, я, между прочим, сказал:

— Подумайте, сколько ума, сколько энергии мы тратим на то, чтоб рассказать и доказать людям, как они плохи, и представьте, что вся эта энергия тратится на то, чтоб объяснить людям, чем они хороши.

— Как? — спросил он. — Ну-ка, повторите про энергию!

И, когда я повторил, он, потрянув головой, усмехаясь, заговорил:

— Это, конечно, верно, дурное мы друг в друге охоче подмечаем, даже и с радостью. Это, конечно, глупость!

Однако, товарищ, и это вопроса не решает: на чем полезнее учиться — на плохом или на хорошем? Письма ваши рабкорам читал я, ну, неубедительно все-таки, уж как хотите! Нет, мы должны без пощады...

А за спиной у меня кто-то вполголоса торопливо и оживленно рассказывал:

— Ругал он ее, ругал, а она все молчит и вдруг спрашивает: «Неужто за четыре года жизни ничего хорошего не нашел ты во мне и ничего доброго не видел от меня?» Так он мне потом говорит: «Прямо с ног сбила она меня этими словами, чорт! Замолчал я, а потом и смешно и даже совестно стало...»

Из толпы кричат:

— Вы, товарищ Горький, напишите нам книгу о хорошем и плохом...

Природа не наградила меня способностями оратора, и каждый раз, читая стенограммы публичных моих речей, я со стыдом убеждаюсь в их бессвязности. А вот такие беседы, когда каждый спрашивает о чем хочет и говорит мне все, что ему угодно, — эти беседы — дело новое для меня, — много дали мне, многому научили. Огромное и глубокое наслаждение — наблюдать за игрою сотен разнообразных лиц, сотен пар разноречивых глаз, следить, как вспыхивает в них сочувствие или недоверие, дружеская улыбка или блеск насмешки, а иногда разгорается и огонек вражды. Большая радость воочию убедиться в том, что люди заново живут, по-новому начинают думать и чувствовать. Убеждаешься в этом каждый раз, когда от живого искреннего слова вспыхивает яркий интерес и дает тебе знать, что ты нужен, полезен. Много нового накопилось в людях, но нет еще у них времени воплотить свои чувства и мысли в свои слова с достаточной ясностью и точностью.

Из беседы в великолепном доме грузинских литераторов по вопросу об издании журнала «Наши достижения» и альманахов, посвященных национальным литературам, я не вынес определенного впечатления. Ярким моментом ее была опасливая речь одного из молодых писателей, он ее начал словами:

«Горький хочет перевести нас на смертельный ток».

Я хочу думать, что этот отзвук недоверия, а может быть, и вражды, всемерно и вполне объясняется грубейшим давлением старой, царской власти на культуру «нацменьшинств». Но все же странно было слышать запоздалое эхо старины в те дни, когда так свободно и быстро развиваются национальные культуры даже маленьких поволжских племен, которые лишь несколько лет тому назад получили письменность, а сегодня уже издаются газеты и книги на своих родных языках, организуют нацмузеи, консерватории. Вот предо мной сборник «Тысяча казакских-киргизских песен»; они положены на ноты, оригинальнейшие их мелодии — богатый материал для Моцартов, Бетховенов, Шопенов, Мусоргских и Григов будущего. Отовсюду — от зырян, бурят, чуваш, марийцев и так далее — для гениальных музыкантов будущего льются ручьи поразительно красивых мелодий. Я слышал, как эти песни нацменьшинств исполняет А. И. Загорская, концерты которой в Берлине имели громадный успех. И, когда слушаешь пение этой исключительно талантливой женщины, думаешь, конечно, не только о музыке будущего, а о будущем страны, где все разноязычные люди труда научатся уважать друг друга и воплотят в жизнь всю красоту, издревле накопленную ими. Это — должно быть, и это будет, — или все мы снова вернемся на старые пути звериной вражды и кровавых преступлений друг против друга...

...В долине Делижана кто-то из товарищей сказал вполголоса:

— Много здесь турки перебили армян.

— Ну, что же вспоминать об этом в такой красоте, — ответили ему.

Да, удивительно красиво. Кажется, что горы обняли и охраняют долину с любовью и нежностью живых существ. На высоте 1500 метров воздух необыкновенно прозрачен и как будто окрашен в голубой мягко сияющий тон. Мягкость — преобладающее впечатление долины. Глубокое русло ее наполнено пышной зеленью садов, и дома как бы тихо плывут в зеленых волнах по направлению к озеру Гокче. Южное Закавказье ошеломляет разнообразием и богатством своих красот, эта долина — одна из красивейших

в нем. Но на красоту ее неустраимо падает мрачная тень воспоминаний о недавнем прошлом. Мне показывают:

— Вот в это ущелье турки согнали и зарезали до шести тысяч армян. Много детей, женщин было среди них...

Меньше всего лирически прекрасная долина Делижана должна бы служить рамой для воспоминаний о картинах кошмарных, кровавых преступлений. Но уже помимо воли память воскрешает трагическую историю Армении конца XIX, начала XX веков, резню в Константинополе, Сасунскую резню, «Великого убийцу», гнусное равнодушие христиан «культурной» Европы, с которым они относились к истреблению их «братьев во Христе», позорнейший акт грабежа самодержавным правительством церковных имуществ Армении, ужасы турецкого нашествия последних лет, — трудно вспомнить все трагедии, пережитые этим энергичным народом.

Удивительно быстро и ловко забывают факты такого рода господа «гуманисты», идеалисты, защитники «культуры», основанной на жадности, зависти, на рабстве и на циническом истреблении народных масс. Ложь и лицемерие защитников этой «культуры по уши в крови и грязи» восходят до явного безумия, до преступления, которому нет достойной кары.

...Едем мимо армянских деревень, и, глядя на них, забываешь о том, что живешь во второй четверти XX века, в царствование миллиардеров, миллионеров, в эпоху безумнейшей роскоши и поразительного развития техники. К суровой земле беспорядочно и почти неотличимо от нее прижались низенькие, сложенные из неотесанных камней постройки без труб, без окон; они еще менее, чем старые казармы рабочих на промыслах Азнефти, напоминают жилища людей, даже загоны для овец в степи Моздока построены солидней. На плохих местах, на голой земле прилепились эти жуткие, унылые деревни армян. Видеть их как-то стыдно, неловко. Кое-где около них торчат метелки кукурузы, сизые пятна посевов ячменя. Изредка мелькают полуголые дети, женщины в темном, истощенные непосильным трудом. Холодно и одиноко, должно быть, в этих доисторических жилищах суровой зимой среди лысых гор, где прячутся погасшие вулканы. Зима на этой высоте стоит

долго, бывают сильные морозы. Когда вот такие деревни мысленно поставишь рядом с Нью-Йорком, Лондоном, Парижем, Берлином — особенно хорошо видна преступная ложь современной культуры, и особенно понятна ненависть защитников ее к Союзу Советов, — ненависть, которая пожрет всех, кто ненавидит людей труда.

...Развертывается грандиозное синее зеркало озера Гокча, — точно кусок неба, который опустился на землю между гор. Необыкновенен густосиний цвет воды этого озера, отнявшего у земли площадь почти в 1395 квадратных километров. Озеро богато рыбой, больше других — лососью, и мне сказали, что скоро эту рыбу, замораживая ее, будут отправлять в Париж.

На берегу озера большая русская деревня, в ней живут крупные, дородные бабы, большие, бородатые мужики, хорошо упитанные русоволосые дети. Очень здоровый народ, но глаза большинства — странно прозрачные и сонные, такие глаза я замечал у пастухов в горах Швейцарии, и мне подумалось, что это — глаза людей, живущих вне времени, вне действительности.

Один из туземцев с берега Гокчи, широкоплечий, стройный, с густейшей сивой бородой, стоял, спрятав руки за спину, и смотрел на автомобиль, точно вспоминая: видел он уже такую телегу или нет?

— В Эривань едете? — спросил он басом.

— Да.

— Эривань — далеко, — сообщил он и не торопясь отошел прочь.

Дома в деревне солидные, деревянные, хотя земля вокруг безлесна, а горы почти сплошь из вулканических пород, и среди них — сказали мне — есть достаточно мягкие, удобные для строительства. В одном из домов — ихтиологическая станция, где изучают жизнь населения озера. Производится интересный опыт: в синюю воду Гокчи пустили 15 миллионов мальков сига из Ладожского озера и уверенно ожидают, что сиви приспособятся к жизни в этом огромном бассейне на высоте почти 2000 метров. Да, всюду, на всех точках земли Союза Советов делаются смелые, великого значения опыты, строится новая жизнь. Эта

стройка — первое, что бросается в глаза, когда подъезжаешь к Эривани.

Серый каменный город на фоне хмурой массы среброглавого Арарата, в шапке красноватых облаков, — этот город издали вызвал у меня впечатление заключенного в клетку строительных лесов, на которых муравьиные фигурки рабочих лепят новые здания как будто непосредственно из каменной массы библейской горы. Такое впечатление явилось потому, что стройка идет на окраине города и его видишь сквозь леса. Внутри города строят не так много, как это показалось издали, — бедна Армения, многократно растоптанная копытами врагов, разоренная той звериной ненавистью и жаждой крови, которые так умело разжигают жрецы золотого бога, имя которому капитализм — Желтый Дьявол.

Да, Армения бедна, но уже отличная силовая станция украшает Эривань, силою ее работает завод, очищающий хлопок, масляный и мыльный заводы, богато освещен город. Энергично идет стройка жилищ для рабочих, два больших корпуса уже заселены, всюду чувствуется смелая рука умного хозяина, и движение в городе носит характер движения накануне большого праздника.

Прекрасно организован музей, намечено множество работ, которые должны будут быстро преобразовать город, идут геологические исследования по всей стране. И уже сделано открытие, которое, несомненно, даст армянам значительные средства для развития промышленности и культуры страны: около Арарата найдены богатейшие залежи вулканического туфа. Из этого материала построен Неаполь и все города по берегам Неаполитанского залива, но туф Арарата плотнее везувианского, — вбитый в него гвоздь не колет массу, и в то же время она режется легко, почти как мыло. Из туфа можно, на месте разработки, резать колонны, наличники окон и дверей, консоли, карнизы, его можно резать по заданию архитектора на кубы любого объема. Залежи его исчисляются сотнями миллионов тонн. Разработка этого богатства уже начата, прокладывается подъездной путь к Закавказской железной дороге. Думают, что туф этот будет дешевле кирпича и хорошо пойдет в Северо-Кавказский край и на Украину, бедную строительным материалом. Вероятно, вулканическая почва Армении

подарит народу своему и другие богатства. На обратном пути из Эривани в Тифлис мы видели выхода на поверхность земли черного обсидиана — вулканического стекла.

Вечером, после митинга, в городском саду эриванская молодежь показывала танцы сасунских армян, нечто совершенно исключительное по оригинальности и красоте. Я — не знаток искусства танцев, равнодушен к балету, на характерные пляски смотрю как на легкую и веселую акробатику, на фокстроты — без отвращения, но нахожу, что одежды в этом «танце» излишни и, должно быть, стесняют свободу танцоров, которых можно назвать также и бесстыдниками, хотя, конечно, в природе есть существа еще более бесстыдные, например: мухи, петухи и куры, козлы, собаки.

Танцы сасунских армян не поражают затейливостью и разнообразием фигур и не стремятся к этому, в них есть нечто другое, более значительное и глубокое. На эстраду выходят двое музыкантов в ярких национальных костюмах, двое — большой барабан и пронзительно крикливая дудка, — а за ними выплывает ослепительно блестящее, разноцветное тело — двадцать человек мужчин. Они идут плечо с плечом, держа за спинами руки друг друга, они — единое тело, движимое единой, изумительно ритмически действующей силой. Это тело свертывается в круг, в спираль, развертывается в прямую линию, строит разнообразные кривые; идеальность ритма, легкость и плавность построения фигур все более укрепляют чарующую иллюзию единства, слитности. Отдельных танцоров трудно различить, видишь, как пред тобой колеблется ряд красивых лиц, видишь их улыбки, блеск глаз, кажется, что вот их стало больше, а в следующую минуту — меньше; индивидуальные черты каждого отдельного лица почти неуловимы, и все время с вами говорит, улыбается вам как будто одно лицо, — лицо фантастического существа, внутренняя жизнь которого невыразимо богата. Возбуждающе поет дудка, но ее высокий голос уже не кажется пронзительным; громко, но мягко отбивает такт барабан, и за этой музыкой видишь другую — музыку изумительно красивых движений гибкого человеческого тела, его свободную игру в разноцветной волне ярких одежд. Минутами,

когда стремительность движений многоглавого тела, возрастая, превращалась в золотой и радужный вихрь, я ждал, что цепь танцоров разорвется на отдельные звенья, но и в этом вихре они сохранили единодушную плавность движений, увеличивая, углубляя впечатление силы и единства. Никогда я не видел и не мог представить себе картину такой совершенной слитности, спаянности многих в едином действии. Несомненно, в этом, должно быть, очень древнем танце скрыто нечто символическое, но мне не удалось узнать — что это: религиозная пляска жрецов или танец воинов? Мне кажется, что есть в нем что-то общее с воинственным танцем гурийцев, — не помню, как называется он — «перхули» или «хорули». Но в нем не было ничего, что хоть немного напоминало бы бешеное «радение» хлыстов или истерические судороги «вертящихся дервишей», от которых — как говорят — заразились истерией и наши сектанты — «кавказские прыгуны». Вероятно, танец сасунских армян — победный танец воинов.

Не менее оригинально и так же обаятельно красиво танцевали женщины, одетые тоже по-восточному ярко и цветисто. Танцуя, они показывали, как причесывают волосы, красят лицо, кормят птицу, прядут, — и снова все мы были очарованы изумительной ритмичностью их движений, красотой жестов. Женщины танцевали каждая отдельно от другой, и жесты каждой были индивидуальны, тем труднее было сохранить их ритмичность, единство во времени, а она сохранялась идеально. Затем они исполнили комический танец хромых, — танцевали так, точно у каждой из них перебито бедро, и, хотя смешные движения их были на границе уродливого, они поражали гармоничностью и грацией.

«Сколько талантов вызвала к жизни наша эпоха, сколько красоты воскресила живительная буря революции!» — думал я по пути из Эривани.

Возвращались мы другой дорогой, по долине более богатой, плодородной, через деревни сектантов-«прыгунов». Странное впечатление вызывают эти большие зажиточные селения без церквей и эти крупные бородатые люди с такими же пустыми и сонными глазами, как и у поселенцев на берегу Гокчи. Мне сообщили, что турецкое нашествие

перешагнуло через «прыгунов», не причинив им вреда, и что защитой этим сектантам служит их пассивное безразличие ко всему, кроме интересов своей общины и личного хозяйства.

Разумеется, они считают себя единственными на земле людьми, которые исповедуют «истинную веру». В 1903 году один из них, Захарий, — кажется, Нищенков или Никонов, — снисходительно внушал В. М. Васнецову, доктору Алексину и мне:

— Наша вера — древнейша, она еще от царя Давида, помните, как он «скакаше играя» пред ковчегом-то завета? Во-он она откуда...

Его товарищ, сухой, длинный старик, с глазами из темногозеленого стекла, гладил острое свое колено, покачивался и говорил глухим голосом:

— Ты перестань, Захарий, господам московским это без интереса.

Но Захарий не унимался, его раздражали насмешки доктора, и ему, видимо, льстил горячий интерес художника, который выспрашивал его, как, вероятно, выспрашивают дикарей католики-миссионеры. Но Захарий держал себя не как дикарь, а как вероучитель.

— Отчего — скакаше? — поучал он Васнецова. — Оттого, что пророк был, знал, что из его колена Христос изыдет, — вот оно! Священны пляски и греки знали, не теперешние, а — еллены, царства Елены Прекрасной, они тут жили по берегу Черного моря, у них там, на мысу Пицунде, остатки церкви есть. Так они тоже скакали, радовались, возглашая: «Иван, двое...»

— «Эван, эвое»*, — поправил Васнецов, но Захарий продолжал, горячась:

— Грек не может по-русски правильно сказать, он сюсюкает, я греков знаю. Иван — это Предтеча, а двое — значит за ним другой придет, ну, а кто другой — сам пойми...

Доктор Алексин неприлично хохотал, Васнецов тоже горячился, как и Захарий, это обидело старика, он вытянулся во весь рост и решительно приказал:

— Идем! Нечего тут... зубы чесать.

* Крики древних греков во время религиозных танцев.

Люди эти приехали к наместнику Кавказа с жалобой на какие-то притеснения, они жили в одной гостинице с нами, и старик вообразил, что солидный доктор — важный чиновник из Петербурга, а Васнецов — духовное лицо, путешествующее в «штатском» платье. Он и научил Захария поговорить с ними. А. П. Чехов, наш спутник, не присутствовал при этой беседе, чувствуя себя уставшим. Вечером, за чайным столом, когда Васнецов с досадой рассказывал ему о «прыгунах», он сначала беззвучно посмеивался, а затем вдруг и в разрез настроению художника, сердито сказал:

— Сектанство у нас — от скуки. Сектанты — сытые мужики, им скучно жить и хочется играть в деревне роль попов, — попы живут весело. Это только один Пругавин думает, что секты — культурное явление. Вы Пругавина знаете?

— Нет, — ответил Васнецов.

— Он — с бородой, но похож на кормилицу.

Где-то, вспоминая об А. С. Пругавине, я воспользовался этим сравнением, удивительно метким, несмотря на его необычность. А сцену беседы с «прыгунами» написал для «Нижегородского листка», но цензор, зачеркнув гранки, тоже написал:

«Скрытая проповедь церковной ереси. Не разрешаю. Самойлович».

...Четвертый раз я на Военно-Грузинской дороге. Все знакомо — кроме базы экскурсантов на станции Казбек. Экскурсии тянутся бесконечными вереницами; идут сотни здорового, веселого народа, юноши и девицы, комсомол, студенчество. Это — люди, которые хотят знать геологию, петрографию, историю, этнографию, — все хотят знать и как будто слишком торопятся приобрести знания. Когда много спрашивают, — мало думают и плохо помнят. Людям, которых отцы поставили в позицию полных хозяев своей страны, необходимо помнить, что каждый камень ее требует серьезного внимания к себе.

Никогда еще пред молодежью не открывался так широко и свободно путь к всестороннему познанию ее страны. Она может спуститься в шахты под жесткую кожу земли,

подниматься на вершины гор, в область вечных снегов, пред нею открыты все заводы и фабрики, где создается все необходимое для жизни, — учись, вооружайся! Нет университета более универсального, чем природа, все еще богатая не использованной нами энергией, и действительность, создаваемая волею и разумом человека.

...Дорога от Владикавказа до Сталинграда по бесконечной равнине. Пустынность ее обидна и раздражает. Не должно быть земли, которую всепобеждающий труд человека не мог бы оплодотворить, не должно! Камни и болота Финляндии, пески Бранденбурга убедительно говорят нам, что, когда человек хочет заставить даже бесплодную землю работать на него, — он ее заставляет работать.

Об этой чудотворящей силе воли, силе труда необходимо как можно чаще напоминать людям в наши дни, когда пред людьми широко развернута возможность работать для себя, на самих себя, для создания трудового государства, совершенно исключаящего безвольных, лентяев, хищников и паразитов.

На мой взгляд — одним из крупных недостатков людей труда является тот факт, что они не знают, сколько хорошего сделано ими на земле, какие великие победы одержаны ими в борьбе за свою жизнь, и оттого, что это не известно им, они — в массе — работают все еще плохо, неохотно, безрадостно. Разумеется — не они виноваты в этом, а те, кто держал их во тьме и так постыдно низко ценил их чудесный труд, преображающий землю. В школы следовало бы ввести еще один и самый важный учебник — «Историю труда» — прекрасную и трагическую историю борьбы человека с природой, историю его открытий, изобретений — его побед и торжества его над слепыми силами природы.

...Пустыню перерезала широкая полоса Волги. С детства знакомая река не так оживлена, как была раньше, и, может быть, поэтому она кажется мне более широкой, мощной. Вода в ней стала как будто чище, не видно радужных пятен нефти. Нет буксирных пароходов, которые вели за собой «караваны» в четыре, пять и даже шесть деревянных барж-«нефтянок», теперь буксиры, один за дру-

гим, тащат по одной железной барже, вместимостью до девяти тысяч тонн и больше. Нет и плотов «самоплавов», теперь их тоже ведут буксирные суда, и плоты не в четыре яруса, как бывало раньше, а в семь-восемь. Это для меня ново. Но так же, как раньше, белыми лебедями плывут вверх и вниз огромные теплоходы и так же чисто, уютно на них, только все стало проще, и, хотя пассажиры, по-старому, делятся на три класса, — «господ» среди них нет. На пристанях грузчики в прозодежде и в шляпах голландских моряков.

— Грузчики теперь — народ пестрый, — рассказывает человек в очках, пассажир третьего класса. — У нас двое монахов работали, а потом один — часовщик, а другой — из цирка.

— Бывает, — подтвердила женщина, пожилая, с красной косынкой на шее, с газетой в руках. — В Самаре учитель наш два лета на пристанях работал, тоже из духовных. Летом — работает, а зимой — учит. Замечательный человек, скотину лечит, пчеловодство знает, садовое дело. Мужики долго уговаривали его: брось, живи в деревне весь год, не жадничай!

— Согласился?

— Согласился.

— А как — заработок грузчиков?

— Жалуются.

Старичок, стоя у трапа, говорит:

— Кабы люди не жаловались, так их бы не миловали.

Но тотчас вступается другой матрос, постарше.

— А — на кого жаловаться? Мы — сами хозяева, свое работаем. Чего там...

На корме пристани, в тесной группе людей, ожидающих парохода «вниз», ораторствует широкоплечий старичище, бритый, с разрубленным подбородком, в пальто из парусины и в полотняном колпаке.

— А я говорю: не от засухи голод был, а от страха! Ужаснула людей война, и опустились руки — вот причина...

— Да — засуха-то была? — кричат на него

— Ну — была! А того хуже чехи были

— Толкуй с ним!

— Вот и потолкуй! Ты живи смиренно, и все будет. У тебя не родит, я тебе помогу. Тебя чему учат?

— Ты по-оможишь, — иронически тянет какой-то рыжеватый человек в истертой кожаной куртке.

Схватив котомку, старик растолкал собеседников и ушел за угол конторки.

— Вы, граждане, не смейтесь над ним, он немножко чудовой. Он в голодное время большим деятелем был, его и американцы уважали. Настоящий, народный человек, хотя — из господ, из бедных, земелька была, десятин с полсотни, что ли-то. Сам работал с младшим сыном, старший — на войне остался. А младшего — чехи повесили, домишко сожгли, — старуха в нем нездорова лежала — со старухой. Сам он тоже бит был. Ну, немножко и — того, заговаривается.

Рассказывает это широколицый, бородатый человек в синем, новеньком пиджаке, он сидит на мешках, за поясом у него топор, лезвие топора — в кожаном чехле. У ног его ящик с инструментами столяра. Никогда не видал у русского мастерового инструментов, уложенных в порядке, и топора в чехле. Не видал и матроса, который, умываясь, чистит зубы щеткой. И капитана, который, проплавав по Волге тридцать шесть лет, сидит на своем пароходе в «красном уголке» и, вместе с верхней и нижней командой, интересуется вопросами политической и культурной жизни Запада. «Кубатура» уголка едва ли больше кубатуры обыкновенной одноместной каюты, люди сидят на коленях друг друга, большинство стоит, и эта сплошная масса крепких ребят наперебой ставит десятки разнообразных вопросов: о росте народонаселения в Англии, о ее положении в Египте, о том, чем отличается фашизм Италии от фашизма Венгрии, а с палубы в дверь «уголка» кричат:

— Сколько женщин на тысячу мужчин в Европе? А у нас? Почему к нам, на Волгу, мало иностранцев приезжает?

Очень хорошо помню, что в годы моей юности вопросы этого порядка не интересовали кочегаров, матросов и палубных пассажиров на волжских пароходах.

Даже неизбежные курьезы русской жизни как-то обновились, — впрочем, это не сделало их менее уродливыми.

В третьем классе женщина лет пятидесяти, рыхлая, с лицом, точно присыпанным мукой, в черном платье, повязанная платком, обратилась ко мне с просьбой:

— Помогите, милостивец, возвратиться к нам батюшке Илиодору!

Перегруженный впечатлениями совершенно иного рода, я не сразу догадался, кто этот «батюшка».

— Ну, как же, милостивец, забыли вы невинного страдальца за нас иеромонаха Илиодора. Нам же известно, что вы помогли ему бежать за границы от злобы царя и распутинских архиереев...

Она говорила нараспев «причитающим» голоском с той привычной «жалостью» и привычкой жаловаться, которая вырабатывается десятилетиями непрерывной практики; тон, можно сказать, «древнерусский» и усвоенный не только старыми бабами, — таким тоном в девяностых годах в провинции русской либералы читали жалобные лекции, коими доказывалась обывателям необходимость конституции.

Пассажиры, с любопытством разглядывая поклонницу Илиодора, добродушно и снисходительно усмехались; пожилая женщина, только что проснувшись и расчесывая седоватые волосы, удивленно спросила:

— Это зачем же вам, гражданка, Илиодор понадобился?

Я действительно, по просьбе А. С. Пругавина и при помощи товарища Линде, устраивал иеромонаху переход через границу Финляндии в Стокгольм, куда он бежал писать о Распутине книгу «Святой чорт». Но, прежде чем я успел рассказать то, что знал о нем, меня опередил в этом какой-то человек.

— Брось, бабка, — сказал он. — Это — дело дохлое. Илиодор твой швейцаром при гостинице служит и сводничеством занимается.

Сказал, плюнул на пол и пошел прочь, а вслед ему — молодой, протестующий голосок:

— На палубу плевать вас не просят, а — наоборот!

— Извиняюсь.

Женщина в черном «причитала»:

— Не верю я в это, клеветают на него попы да интеллигенты, скучно душеньке его без нас, и без духовного вождя, без пастыря трудно жить.



А. М. ГОРЬКИЙ и А. А. ЖДАНОВ
Нижний-Новгород, 1928 г.

УЧЕБНИК
УЧЕБНОЕ
ПОСОБИЕ
И СПРАВОЧНИК

Я отметил, что никто, ни один из двух десятков свидетелей этой сцены, не посмеялся над этой женщиной грубо, обидно, смеялись добродушно. Только кто-то с верхней койки проворчал:

— Пастырь, — пастырь, эх...

...Хорошие, «ликующие» дни, солнце как будто даже хвастливо освещает красоту берегов Волги. Заметно выросли села и деревни, везде видишь новые избы, крытые тесом, иногда их стоит целый порядок; деревня, должно быть, горела. Впрочем, на богатых берегах могучей реки и прежде соломенные избы встречались так же редко, как мужики в поскони, сермяге и лаптях. На пристанях, так же как на станциях железных дорог Донского края и Северного Кавказа, нередко видишь группу женщин в платьях одноцветного ситца и одинакового рисунка, — это, очевидно, значит, что в деревню попал целый «кусок». Почти на каждой пристани мелькают красные повязки комсомолок, галстуки пионеров, группы экскурсантов с котомками за спиной — это заставляет вспоминать «Перелетных птиц» Германии, обширную организацию молодежи, изучающей свою страну.

...Казань. Нижний-Новгород. Но в этих городах ожило так много воспоминаний, что я сейчас не буду говорить о них.

Сормово. В детстве, когда мой вотчим служил на Сормовском заводе и скупал — вероятно, за полцены — у рабочих записки в фабричную лавку, — записки, которыми администрация платила вместо денег за труд и этим уменьшала заработок, — в детстве я был уверен, что Сормовский завод выделяет сахар, колбасу, изюм, чай, сухари, муку и вообще все, что можно съесть. Затем я побывал в Сормове лет пятнадцати, надеясь получить работу, — на завод, разумеется, не пустили меня, видел его только издали. Не понравилось мне покрытое облаками дыма скопище грязных корпусов, и эти грязные каменные пальцы труб, и грохот, скрежет, лязг, визг, скрип железа. Визит мой кончился дракой с фабричными подростками и бегством от них. Кажется, в 90 году мой приятель Аким Чекин, пропагандист-народник, и Егор Барамзин,

тоже народник, но уже склонный к марксизму, попробовали устроить меня на завод табельщиком, но не удалось. В 96 году я ходил по цехам завода с группой иностранных корреспондентов, которые приехали на Всероссийскую выставку. Но меня интересовала не работа завода и не рабочие, а то, что рассказывал иностранцам представитель администрации «Сормова». Говорил он по-французски, очень громко, но в адовом шуме голос его был не слышен мне, да и языка я не знал. Но по тому, какими резкими жестами этот человек стирал пот с лица и шеи, я был уверен, что он рассказывает интересно. Я спросил «собрата по перу», кажется, сотрудника «Степного края»:

— Что он говорит?

— Жалуется на рабочих.

Шли дальше сквозь грохот, среди невиданных мною машин и черных людей; все вокруг дрожало, вертелось, двигалось, как будто весь завод и земля под ним — все уплывало вниз по Волге.

— А теперь что он говорит?

— Жалуется на рабочих.

Дождь хлестал по крышам. В прокатном, где по земле бегали, извиваясь, жгучие красные змеи, а дождь, врываясь в разбитые окна, шипел на полу, я третий раз спросил все о том же и получил ответ:

— Хвалит французских рабочих.

В корпусах было нестерпимо жарко, хотя жару пронзали сквозняки, заплескивая в окна брызги холодного осеннего ливня; между корпусами текли черные ручьи, бегали, оскалив зубы, черные люди; дождь, словно метлою, снова заметал их в двери корпусов, в жару и дым. Иностранцы, подняв воротники пальто, шагали молча, с таким унынием на лицах, что их было почти жалко. Затем они и представитель «Нового времени» пошли обедать к администратору, а мы, четверо провинциалов, — в трактир.

Хорошо помню, что мне было неловко гулять по цехам с группой чужих, равнодушных людей, я не умею быть «зрителем». Ощущение этой неловкости тяготило и стесняло меня и теперь на всех заводах, которые так обильно и мощно разрослись под Нижним, на огромном треугольнике от Балахны на Волге до Растяпина на Оке, — на «Двигателе революции», «Красной Этне», «Суперзаводе»,

фосфорном и на изумительной бумажной фабрике за Ба-лахной. Среди тысяч людей, поглощенных нелегким и требующим напряженного внимания трудом, морально неудобно «гулять», хотя бы и с той целью, чтоб описать эту прогулку. Гулять — не значит ознакомиться с производством. Поэтому я не считаю себя вправе говорить о новых заводах, на которых я был. Прекрасные, огромные заводы, и, вероятно, рабочим удобно работать в их просторных цехах.

А что видел я в несколько часов прогулки по Сормовскому заводу? Мне показалось, что на нем, в цехах, стало еще теснее, чем было в 96 году. Станки стоят вплоть один к другому, рабочие почти трутся друг о друга. В горячих цехах, на мой взгляд неопытного человека, не хватает каких-то механических приспособлений, которые облегчали бы адски тяжелый труд рабочих. Когда я смотрел, как раскаленный едва не добела коленчатый вал, весом, наверное, в несколько тонн, — вал для морских шкун, вместимостью в десять тысяч тонн, — когда я видел, как этот вал подводили из горна под паровой молот, пред моими глазами встала картина работы на заводе Балдвина в Филадельфии, на судостроительном под Нью-Йорком. Грустно и обидно было сравнить условия работы сормовских рабочих с картиной работы американцев, которую я видел двадцать два года тому назад.

Возможно, что я чего-то не понимаю, ошибаюсь и что лучше бы мне не говорить об этих делах. И, разумеется, я не забыл, что русские рабочие получили от бывших хозяев наследство технически плохонькое. Знаю я, что Сормовский завод — «ветеран труда», что горячие цеха уже выносят на новое место, что на заводе скоро будет просторней и удобней для восемнадцати тысяч носителей творческой силы, — все это так. Но у меня есть свое отношение к труду, к рабочим, и, если я ошибаюсь, — мне на это укажут, а все-таки я должен сказать то, что думаю. Я видел, вероятно, не один десяток дворцов культуры, дворцов труда, огромных, отлично построенных зданий, которыми рабочий класс имеет законнейшее право гордиться как одним из своих культурных достижений. Превосходнейшие дворцы эти стоят, конечно, много миллионов. Мне кажется, что было бы социально разумнее

затратить эти миллионы на расширение своих заводов и фабрик, на улучшение условий труда, на охрану своего здоровья. Недавно товарищ Н. А. Семашко, призывая на «борьбу с изношенностью» человеческого организма, совершенно правильно сказал:

«Нужно работать так, чтобы принести больше пользы, больше сделать для социалистического строительства. А для этого нужно прежде всего организовать свой труд. Уменьше правильно, то есть с максимальной пользой, работать — это один из основных признаков культуры, особенно в нашей трудовой стране. Достижения по правильной организации труда должны считаться основными достижениями на пути культурной революции».

Это — неоспоримо. И это должно понять особенно старое поколение квалифицированных рабочих, которые являются для молодежи учителями труда.

Повторяю: дворцы труда и культуры — великолепны, и я не объявляю «войну дворцам» этого типа, это дворцы — крепости рабочих. Но рабочий класс — сила, которая должна беречь себя, сила, на которую историей возложена обязанность построить «новый мир» и которая страшной ценой крови своей завоевала право свое создавать этот мир.

Количественно — эта сила еще не велика, а против нее — весь «старый мир» собственников. Чтоб устоять против натиска этой враждебной массы, рабочий должен быть и физически стоек, должен заботиться о том, чтоб прежде всего облегчить свой каторжный и героический труд на фабриках, заводах, шахтах. Каждый сознательный рабочий-революционер обязан понимать, что чем длиннее срок его жизни, тем более это полезно для его класса, тем продуктивнее должна быть его работа строителя «нового мира» и воспитателя молодежи. Не надо забывать, что индивидуализм собственников проникает всюду, как дым, как угар, и что наша крестьянская страна дымит, к сожалению, все более густо.

Я назвал труд рабочих героическим. Он — везде таков, но наиболее хорошо я видел это в Сормове, где теснота и примитивные условия труда не мешают работникам строить морские шкуны почти голыми руками, где нет для этой работы даже подъемного крана и огромные тяжести

рабочие «самосильно» передвигают с места на место под пение «Дубинушки». Дворцы культуры и «Дубинушка» — в этом, товарищи, есть что-то и смешное и грустное.

Именно это чувствовал я, когда ходил по железным палубам морских шкун, изумляясь терпению и талантливости рабочих людей Софьмова. Ходил, похваливал и думал:

«А надолго ли вас хватит при такой работе, товарищи?»

И тут же рядом, в двух десятках верст, бумажная фабрика Балахны, о которой хочется говорить торжественными стихами как об одном из прекрасных созданий человеческого разума.

Там человек образцово показал, как разум, расчет и воображение могут заставить работать иные силы, оставляя человеческую силу свободной и только наблюдающей, руководящей машинами. Это как раз то, к чему и должен стремиться рабочий класс, — превращать слепые и буйные силы природы в своих разумных слуг, освободить свою физическую энергию для того, чтоб шире и глубже развить свой разум властелина земли и сокровищ ее.

На бумажной фабрике Балахны бревна с берега Волги из воды сами идут под пилу, распиленные без помощи человека, ползут в барабан, где вода моет их, снимает кору, ползут дальше по жолобу на высоту сотни футов, падают оттуда вниз, образуя пирамиды, из этих пирамид также сами отправляются в машину, она растирает их в кашу, каша течет на сукна другой машины, а из нее спускается огромными «рулонами» бумаги прямо на платформы товарного поезда.

Все это так удивительно просто и мудро, что, повторяю, о таких фабриках следует писать стихами как о торжестве человеческого разума. Зал, где стоит огромная, кажется, в семьдесят метров длиною машина, выпускающая готовую бумагу, просторен, светел и похож на танцевальный зал, да и все отделы фабрики удивительны по обилию света, простору, чистоте, гигиеничности. Было ясно, что рабочие уже гордятся этим новым своим хозяйством и понимают его глубоко воспитательное значение. Я вышел с этой фабрики в настроении человека, заглянувшего в светлое будущее, которое готовит для себя рабочий класс.

Всюду на треугольнике Сормово — Растяпино — Ба-
лахна широко развивается строительство новых рабочих
поселков. А вместе с этим строятся индивидуальные
гнезда, красивенькие домики в три-четыре окна по фасаду,
с наличниками резной работы, с точеными колонками и
со всякой иной «красивостью», соблазнявшей еще дедов
и прадедов. Болотистая почва «старого мира» дает себя
знать. Люди все еще не верят, что частная собствен-
ность — источник всех несчастий жизни, всех ее уродств,
преступлений и всего. что веками угнетало и сейчас угне-
тает человека.

А я не верю, что эта зараза надолго, не верю, что ра-
бочий класс позволит снова надеть ярмо на шею себе.
Слушал я на дворе одного из заводов речь молодого това-
рища-рабочего, кажется Зиновьева, — слушал и думал:

«Этот — не соблазнится, не станет строить для себя
индивидуальное гнездо! Этот — действительно строитель
«нового мира».

А таких, как он, я видел и слышал сотни, знаю, что
их — десятки тысяч.

Сердечно приветствую товарищей строителей нового
мира!

II

Начну с Курска, гнездилища рыцарей, прозванных в
начале XX века «зубрами». Предок одного из этих зуб-
ров, черносотенца Государственной думы Маркова-Валяй,
Евгений Марков, усердно прославлял курское рыцарство
в своих романах «Курские порубежники», «Черноземные
поля» и в автобиографической, неплохо написанной по-
вести «Барчуки». Еще более усердно защищал Евгений
Марков феодальные права дворянства статьями в знаме-
нитой газете «Новое время». Вообще этот курянин испол-
нял в русской истории роль capitoлийского гуся, тре-
возно гоготал, предупреждая самодержавие царя о на-
тиске сил, враждебных ему и дворянству.

В 91 году я видел, как на одной из улиц Курска со-
лидный господин в поддевке из чесунчи и в белой фу-
ражке хлестал по щекам толстую даму в зеленом платье;
дама стояла, прижавшись спиной к решетке сада, и, хва-

таясь руками в перчатках за решетку, молча покачивалась под ударами. Господин в чесунче бил ее тоже молча и даже как будто неохотно. Одною ногой он попирал шляпу дамы, — носок сапога его был засунут в шляпу, как в галошу. Я спросил полицейского, который, усумнясь в подлинности моего паспорта, вел меня в участок:

— Это что же такое?

— Не твое дело, — ответил полицейский, но через несколько шагов объяснил:

— Он — мировой судья.

И завистливо вздохнул.

Из окон, сквозь цветы, осторожно выглядывали обыватели. На крыльце приземистого особняка стояла, облизывая губы, крупная девица с рыжеватой косой. Был тихий, «поэтический» вечер; вдали, за вокзалом, опускалось очень красное солнце, как будто садясь на платформу товарного поезда.

В 905 году, ночью, по улице Курска шла, взявшись за руки, толпа пьяных, человек полсотни, в середине ее — два офицера в белых кителях. Часть толпы нестройно кричала что-то веселенькое, другая пыталась петь «Боже, царя храни». Сзади толпы двое вели под руки человека в халате и ночных туфлях; он горько и громко выл, рыдал. Слуга гостиницы задумчиво сказал:

— Добровольцев провожают на войну. Вчерась у аптекаря стекла выбили... — Помолчав, он прибавил:

— У нас даже приезжие скандалят. От скуки всё, я думаю.

В те годы Курск был чистенький, уютный городок; он вмещал тысяч пятьдесят обывателей, и все они были такие сытые, ленивенькие, как будто все — дворяне. Город переполнял душный, жирноватый запах, в лавках поражало обилие колбас, ветчины, а на улицах — отсутствие детей. Может быть, поэтому город казался особенно тихим и скучным.

Теперь Курск вызывает впечатление захудалого города. Мостовые избиты, разрушены дождями, приземистые домики ошипаны, обглоданы временем, на всех домах отпечаток унылого сиротства, приговоренности к разрушению. Слепенькие окна, покосившиеся вереворот и заборы — все старенькое, жалкое. Особенно

бросается в глаза дряхлость деревянных построек. На дворах густые заросли бурьяна — крапива, лопух, конский щавель. Земля, из которой создана вся эта рухлядь, сухая, потрескалась, в сердитых морщинах и кажется обеспокоенной навсегда. Невольно вспоминаешь, что «город Курск основан вятичами в IX веке». Гражданская война не очень потревожила его.

— И те и наши постреляли около без особого вреда, — сказала мне одна из обывательниц. Вероятно, «наши» для нее — победители, кто бы ни были, а цели и верования их ей не интересны.

Над всей этой дряхлостью и над всеми колокольнями двух десятков церквей возвышается до высоты шестидесяти аршин железная ажурная башня. Это А. Г. Уфимцев, внук известного астронома-самоучки Ф. А. Семенова, строит ветродвигатель и «уравнитель» для него. Уфимцев еще молодой человек, но он — старый изобретатель: уже семнадцати лет, в 98 году, он придумал бомбу собственной конструкции и попробовал взорвать «чудотворную» икону Курской богородицы. Бомба взорвалась, но икона уцелела, — монахи были осведомлены о покушении. Изобретателя посадили в тюрьму, а затем сослали в Семипалатинскую область, где он продолжал работать над различными изобретениями. Леонид Андреев сделал из него героя своей пьесы «Савва».

Теперь Уфимцев вертится вокруг своей железной башни и торопливо говорит:

— Главная задача — технически обслужить деревню.

Его слова тотчас же будят эхо:

— Без этого до социализма не дойдем. Завет Ильича...

О заветах Ильича напоминает товарищ из губкома, человек с лицом, которое в царских паспортах определялось как «лицо обыкновенное». В этих паспортах отмечался цвет глаз, но никогда не писали о глазах — «умные».

Все вокруг обыкновенно и знакомо с детства: посреди двух изжитых, покривившихся во все стороны деревянных особнячков тесный двор, стиснутый полуразрушенными сараями, заросший бурьяном, засоренный битым кирпичом и всяким хламом. Лет пятьдесят тому назад на таких дворах удивительно удобно было детям играть «в прятки». А в маленьких домиках взрослые уютно пря-

тались от жизни. Но теперь в щелявом сарае уют, сгибают, сваривают железо, а из мусора и бурьяна высоко в небо вонзился железный каркас ветряка, который должен дать деревне энергию для освещения, для мельниц, маслобоек, крупорушек.

— Если всесторонне обслужить деревню техникой, — повторяет Уфимцев.

В старом, одряхлевшем городе молодые поэты воспевают:

Современности четкий шаг.

Один из них поет:

Зашумели в роще травы,
Лист осин:
Электрической отравы
Не вноси!
Пусть шумят сердито ели,
Но у пней
Чтоб динамо зашумели...

Молодая поэтесса пишет:

...В шумной стройке наша страна,
Романтичен в ней каждый кирпич,
В ней реальность мечту крепит,
В так шагают подошвы дней
По пути к мировой весне...

В советской и, по ее данным, в эмигрантской прессе о беспризорных печаталось много ужасного. Кое-что о жизни уличных детей я знаю от времен моего детства. В 91—92 годах видел сотни ребятишек, спасавшихся от голода в сытых краях: на Дону, на Украине и Кубани. Думаю, что много детей еще в те годы на всю жизнь заразились ненавистью к сытым людям. Вообще — я довольно хорошо знаю прошлое, о чем, полемизируя со мною, забывают мои корреспонденты, не знающие прошлого и обиженные настоящим. О «колониях малолетних преступников» старого, царского времени у меня тяжелые воспоминания. В нижегородскую колонию заключены были мои товарищи: сын богатого подрядчика Иван Смирнов, талантливейший парень, он отлично резал из корней дерева фигурки людей, животных; Ивана затравила

мачеха до того, что он ранил ее стамеской, и за это отец отдал его в «колонисты»; другим «колонистом» был сын прачки Борис Зубов, мальчик, который семи лет выучился у двенадцатилетнего гимназиста писать и читать, за что платил учителю яблоками, пряниками и голубьями, воруя все это. За воровство его били сторожа садов, пекаря, была мать. Он был костлявый, хилый и говорил глухим голосом человека, у которого в груди пустота. Одиннадцати лет он прочитал почти все «классические» книжки Жюль-Верна, Купера, Майн-Рида. Когда я сам прочитал эти книги, я убедился, что Борис, рассказывая о них товарищам, многое добавлял от себя и что в его изложении книги были как будто интересней. Тринадцати лет Зубов начал «сочинять песни», но вскоре его засадили в колонию и там он умер, — «колонисты» говорили, что Зубова убил кулаком сапожник, обучавший мальчиков ремеслу. Смирнову я помогал бежать из «колонии», что, наверно, помнит мой советчик в этом деле И. А. Картиковский, ныне профессор казанского университета. Побег удался, но через несколько дней Смирнова поймали и снова посадили в «колонию», предварительно избив его, сорвали кожу с головы, надорвали ухо. Вскоре он поджег столярную мастерскую, снова бежал и — «пропал без вести». Засадили в колонию скромного мальчика Яхонтова, кажется, только за то, что он был слабосилен и не способен к работе, а отец его, церковный певчий, был осужден за кражу со взломом. Много талантливых детей погибло на моих глазах, и мне кажется, что я не забуду о них, даже если проживу еще шестьдесят лет. Горестная судьба этих детей — одно из самых мрачных пятен в памяти моей о прошлом. У меня сложилось такое впечатление: все это были исключительно талантливые дети, и причиной гибели их послужила именно талантливость.

Естественно, что меня крайне волновал вопрос: что могла сделать советская власть для тысяч «беспризорных», потерявших родителей, беженцев из западных губерний, сирот гражданской войны и голода 21—22 годов, бездомных детей, которых анархизировала бродяжья жизнь, развратили соблазны города? Впервые я увидел «беспризорных» в московском «диспансере», куда их приводила милиция, вылавливая на улицах. Они являлись

в невероятных лохмотьях, с рожицами в масках грязи и копоты; угрюмые, сердитые, они казались больными, замученными, растоптанными безжалостной жизнью города. Тем более странно было увидеть их через час, два, когда они, вымытые, одетые в чистое, крепкие, точно вылитые из бронзы, ходили независимо по мастерским диспансера, с любопытством, но не очень доверчиво присматриваясь к работе своих товарищей, уже довольно искусных столяров, слесарей, кузнецов, сапожников. Почти все ребята кажутся внешне здоровыми, все такие плотно сбитые, мускулистые.

— Это так и есть, — сказала заведующая диспансером, пожилая женщина, видимо, бывшая учительница гимназии. — Больных — мало, большинство болезней — кожные: сухая экзема, чесотка, нарывы; затем — желудочные. Туберкулез, золотуха, рахит встречаются очень редко, венерические и сифилис — исключительно редко. Это объясняется тем, что слабосильные дети легко прикрепляются в детских домах, а главное тем, что городские «беспризорники» уже подобраны с улиц в трудколонию и теперь беспризорных очень много дает деревня, уездные города. Идет такой процесс: мальчик из бедной семьи, а нередко и из богатой, бежит в город, соблазненный письмом товарища, например — пастушонка, который убежал раньше его, пристроился здесь, работает в мастерской, понял значение трудовой квалификации, учится грамоте, по праздникам участвует в образовательных экскурсиях, посещает зоосад, кино. Увлеченный всем этим, он расписывает свою жизнь товарищам в деревне хвастливо, преувеличенно яркими красками. Его письмо подтверждается картинками журналов, которые дети видят в «избе-читальне», рассказами красноармейцев, рабочих-отпускников. Соблазн растет, и деревенский мальчуган в Москве, на улице, где ему приходится пережить немало тяжелых дней, прежде чем милиционер приведет его к нам. Нередко на вопрос: «Почему ушел из деревни?» — получаешь ответ: «Там — скучно». Это стало настолько частым явлением, что нам приходится возвращать детей в деревни.

Заведующая показалась мне человеком не из тех, которые «поглощаются» делом, «с головой уходят в него»,

а из людей, которые организуют дело и, управляя им, развивая его, — не теряют голову. А потерять голову весьма легко в неугомонном кипении сотен детей, которые уже научились «свободно мыслить» и так же свободно действовать. Ежедневно улица дает добрый десяток маленьких анархистов, и, разумеется, они действуют возбуждающе на тех, кто уже подчинился или готов подчиниться трудовой дисциплине. Чтоб держать эту армию буянов в порядке, необходимо очень много спокойствия, такта, а главное — любви к детям. Это — есть. Это чувствуется в отношении детей к заведующей, которая хорошо знает, за какую руку надо взять ребенка для того, чтоб он быстро пошел по пути к самодисциплине.

Среди массы бойких человечков — поэт, страдающий «предельной близорукостью» в прямом, физическом смысле понятия, а не иносказательно, как страдают многие поэты, для которых действительность затуманена словами из плохо прочитанных книг. Поэту уже лет семнадцать, он, помнится, подпасок, и стихи у него — на мой взгляд — интересные, очень бодрые. Указали мне мальчугана лет пятнадцати, с лицом очень резким, вихрастого, остроного, с широко открытыми глазами. Он на вопрос: «Почему ушел из деревни?» — ответил: «У меня отец — кулак». Скучающих детей я не видел. Все заняты работой, только недавно поступившие играют и бегают на дворе, возятся около гимнастических аппаратов и наблюдают за работой группы мальчиков, которые, готовясь к спектаклю, усердно красят декорации.

Диспансер помещен в здании военного госпиталя, в двух этажах огромного старого корпуса с маленькими окнами, длинными коридорами, в коридорах сумрачно и сыро, деревянный истоптанный пол только что вымыт. В спальнях детей и в комнатах для учебных занятий — бедновато, но чисто и уютно, дети украсили серые стены плакатами и картинками своей работы, в одной из бывших «палат» госпиталя устроен «уголок живой природы». Тут дети держат птиц, белых мышей, кроликов, морских свинок, ужей, ящериц. Столярная мастерская производит мебель, особенно хорошо делают обеденные раздвижные столы, продавая их по 25 рублей штуку. Слесарня и куз-

нечная вырабатывают отличные кровати — тоже на продажу. В общем диспансер вызвал у меня впечатление очень умной и серьезной организации.

Разумеется, мне известно, что есть много людей, которым — по соображениям их «высокой политики» — хотелось бы, чтоб я видел это учреждение грязным и мрачным, а детей — больными, унылыми или хулиганами. Нет, я не могу доставить «механическим гражданам» сладострастного удовольствия еще раз пошипеть на рабоче-крестьянскую власть Союза Советов.

Через несколько дней после этого я видел тысячу триста «беспризорных» в Николо-Угрешском монастыре. Это те самые ребята, которые осенью 1927 года устроили серьезный скандал в Звенигороде; эмигрантская пресса злобно раздула скандал этот до размеров кровавой «битвы мальчиков с войсками». Надо сказать, что «основания для преувеличения» были, — они находятся везде, если их хотят найти. В данном случае основание — удивительная талантливость и смелость беспризорников. Эти маленькие люди не знакомы с книгами Буссенара, Майн-Рида, Купера, но многим мальчикам довелось пережить столько удивительных и опасных приключений, что, наверное, из их среды со временем мы получим своих Майн-Ридов и Эмаров.

Тысяча триста смелых ребят, собранных в тихом Звенигороде и не занятых трудом, решили объявить войну скуке мещанского городка. Они достали где-то изрядное количество пороха, наделали ружей из водопроводных труб, и однажды ночью в городе загремели выстрелы. Крови не было пролито, но некоторые юные воины пострадали от ожогов, а обыватели — от страха; пострадали, конечно, и стекла окон.

Всю эту армию «повстанцев» я и видел «в плену», в стенах Николо-Угрешского монастыря. Часть мальчиков занята производством обуви для себя, другая — делала койки, иные работали в кухне и хлебопекарне, большинство деятельно помогало плотникам и каменщикам, которые перестраивали корпуса монастырских гостиниц под слесарную и деревообделочную мастерские. Подавали материал, убирали мусор, устраивали клумбы для цветов, в монастырском парке рыли канавы, стараясь найти сква-

жину, через которую уходили воды пруда. Вокруг церквей монастыря — волны веселого шума. С полсотни мальчуганов работают в «скульптурной» мастерской, их обучает молодой художник, приглашенный из Допра, где он сидел, кажется, за растрату. Преподавательская работа его, конечно, оплачивается, и ему сокращен на треть срок заключения. Мальчики делают пепельницы, лепят различные фигурки, портреты Льва Толстого, все это ярко раскрашивается и уже находит сбыт в кооперативной лавке колонии. Какой-то безымянный парень лет шестнадцати, лицом удивительно похожий на Федора Шалапина в молодости, устроил в парке около монастырской стены «био-сад», как называет он огромную клетку из проволоки, в клетке сидят птенцы сороки, слепые совы, еж и большая жаба, которой он дал имя Банкир. Парень — мечтатель, фантаст, говорун и, очевидно, из тех людей, которые могут все делать, но ничего не доводят до конца. В нем чувствуется обилие зародышей различных талантов, каждый из них тянет его в свою сторону, и все мешают друг другу.

— Начнешь учиться — другое в голову стучится, — говорит он в рифму, как «раешник», и на белобрисом лице его искреннее, веселое недоумение.

Мальчик-брюнет, с тонкими чертами лица, с матовой кожей на щеках, черноглазый, стройный, и, должно быть, знакомый с другой жизнью, моментально написал и подарил мне очень хорошие стихи. Потом оказалось, что это стихи не его и уже были напечатаны.

Всюду мелькает «Ленька», одиннадцатилетний кокет, но уже года четыре «беспризорный». Он только что возвратился из маленького путешествия под вагонами в Ташкент и обратно. Маленький, плотный, круглоголовый, он похож на двухпудовую гирию. На детском лице с пухлыми губами блестят хорошие, умные глаза. Вот он идет — вразвалочку, руки в карманах — по дорожке парка, как фронт по бульвару, идет ко крыльцу кельи заведующего колонией, на крыльце сидит сам заведующий, я, мои спутники: сын и секретарь.

Ленька идет, распевая: «Как родная меня мать провожала», и будто бы настолько увлечен пением, что в десятке шагов не видит людей на крыльце.

— Ты куда, Ленька?

Мальчик на секунду остановился, затем шагнул вперед и независимо протянул грязную лапу.

В каждом движении, жесте, слове, в мимике круглого лица, пропыленного пылью всей России, чувствуется артист, уже знающий себе цену и увлеченный своей игрой с людьми, с жизнью.

— Что же, — скоро снова убежишь?

— Теперь — нет, честное слово! — солидно говорит Ленька и вздыхает: — Куда? Везде был.

— А в Сибири?

— Это — верно. В Сибири — не был.

— Во Владивостоке?

— Это — где?

— Не знаешь?

Прищурив глаз, Ленька подумал.

— Знаю же, — около китайцев!

— Споешь, что ли?

— Можно.

Мальчик становится в позу артиста: грудь — колесом, левая нога выдвинута вперед, голова высоко вскинута. У него красивый, очень сильный альтист, и поет он умело, увлеченно, зная, что — хорошо поет. Но он форсирует голос и, наверное, скоро сорвет его.

Заведующий Бакинской трудовой колонией, — я забыл его фамилию, — и А. С. Макаренко, организатор колонии под Харьковом, в Куряже, — все эти «ликвидаторы беспризорности» не мечтатели, не фантазеры, это, должно быть, новый тип педагогов, это люди, сгорающие в огне действительной любви к детям, а прежде всего — это люди, которые, мне кажется, хорошо сознают и чувствуют свою ответственность пред лицом детей. Бесчисленные трагедии нашего века, возникнув на вулканической почве непримиримых классовых противоречий, достаточно убедительно рассказывают детям историю кровавых ошибок отцов. Это должно бы возбудить у отцов чувство ответственности пред детьми; должно бы, — пора!

Новый тип педагога уже нашел свое отражение в литературе, намеки на этот тип есть в книге Огневa «Дневник Кости Рябцева» и даже в страшноватом рассказе талантливой Л. Копыловой «Химеры».

Старая наша литература от Помяловского до Чехова дала огромную галерею портретов педагогов-садистов и равнодушных чиновников, людей «в футляре», она показала нам ужасающую фигуру Передонова, классический тип раба — «мелкого беса». В старой художественной и мемуарной литературе так же редко и эпизодически, как в действительности, мелькает учитель, который любил своих учеников и понимал, что дети сего дня — завтра будут строителями жизни, завтра начнут проверять работу отцов и безжалостно обнаруживать все их ошибки, их двоедушные, трусость, жадность, лень.

Мне посчастливилось видеть в Союзе Советов учителей и учительниц, которые, работая в условиях крайне трудных, жестоко трудных, работают со страстью и пафосом художников.

Я был в Куряжском монастыре летом 91 года, беседовал там со знаменитым в ту пору Иоанном Кронштадтским. Но о том, что я когда-то был в этом монастыре, я вспомнил лишь на третьи сутки жизни в нем, среди четырех сотен его хозяев, бывших «беспризорных» и «социально опасных», заочных приятелей моих. В памяти моей монастырь этот жил под именами Рыжовского, Песочинского. В 91 году он был богат и славен, «чудотворная» икона богородицы привлекала множество богомольцев; монастырь был окружен рощей, часть которой разделили под парк; за крепкими стенами возвышались две церкви и много различных построек, под обрывом холма, за летним храмом, стояла часовня, и в ней, над источником, помещалась икона — магнит монастыря. В годы гражданской войны крестьяне вырубили парк и рощу, источник иссяк, часовню разграбили, стены монастыря разобраны, от них осталась только тяжелая, неуклюжая колокольня с воротами под нею; с летней церкви сняли главы, она превратилась в двухэтажное здание, где помещены клуб, зал для собраний, столовая на двести человек и спальня девиц-колонисток. В старенькой зимней церкви еще служат по праздникам, в ней молятся десятка два-три стариков и старух из ближайших деревень и хуторов. Эта

церковь очень мешает колонистам, они смотрят на нее и вздыхают:

— Эх, отдали бы ее нам, мы бы ее утилизировали под столовую, а то приходится завтракать, обедать и ужинать в две очереди, по двести человек, массу времени зря теряем.

Они пробовали завоевать ее: ночью, под праздник, сняли с колокольни все мелкие колокола и расположили их на амвоне в церкви, устраивали и еще много различных чудес, но все это строго запретило им начальство из города.

С ребятами этой колонии я переписывался четыре года, следя, как постепенно изменяется их орфография, грамматика, растет их социальная грамотность, расширяется познание действительности, — как из маленьких анархистов, бродяг, воришек, из юных проституток вырастают хорошие, рабочие люди.

Колония существует семь лет, четыре года она была в Полтавской губернии. За семь лет из нее вышло несколько десятков человек на рабфаки, в агрономические и военные школы, а также в другие колонии, но уже «воспитателями» малышей. Убыль немедленно пополняется мальчиками, которых присылает угрозыск, приводит милиция с улиц, немало бродяжек является добровольно; общее число колонистов никогда не спускается ниже четырех сотен. В октябре прошлого года один из колонистов, Н. Денисенко, писал мне от лица всех «командиров»:

«Если бы вы знали, как у нас все переменялось после вашего отъезда. Много старых наших колонистов вышли на самостоятельную жизнь: на производство, на рабфаки и ФЗУ. Совсем мало осталось старых ребят, все новенькие. Жизнь с новенькими, конечно, труднее наладить, чем с теми, которые уже привыкли к трудовой, общественной жизни. Дисциплина в колонии по уходе старших ребят стала упадать. Но мы, оставшаяся часть старших, не должны этого допустить и не допустим. Сейчас в нашей колонии вся школа перестроена, наново организована школа-семилетка, а для переростков школа учебных мастерских. Тяга к учебе не слишком велика, но все же из четырехсот ни один не проходит мимо школьных дверей».

Сейчас в колонии шестьдесят два комсомольца, некоторые из них учатся в Харькове, один уже на втором курсе медицинского факультета. Но все они живут в колонии, — от нее до города восемь верст. И все принимают активное участие в текущих работах товарищей.

Четыреста человек разделены на двадцать четыре отряда: столяров, слесарей, рабочих в поле и на огородах, пастухов, свинаярей, трактористов, санитаров, сторожей, сапожников и так далее. Хозяйство колонии: 43, — если не ошибаюсь, — гектара пахотной и огородной земли, 27 — леса, коровы, лошади, 70 штук породистых свиней, их весьма охотно покупают крестьяне. Есть сельскохозяйственные машины, два трактора, своя осветительная станция. Столяры работают заказ на взрыв-завод — 12 тысяч ящиков.

Все хозяйство колонии и весь распорядок ее жизни фактически в руках двадцати четырех выборных начальников рабочих отрядов. В их руках ключи от всех складов, они сами намечают план работ, руководят работой и обязательно принимают в ней личное, активное участие наравне со всем отрядом. Совет командиров решает вопросы: принять или не принимать добровольно приходящих, судит товарищей, небрежно исполнявших работу, нарушителей дисциплины и «традиции». Признанному виновным заведующий колонией А. С. Макаренко объявляет перед фронтом колонистов постановление совета командиров: выговор или назначение на работу не в очередь. Более серьезные и повторные проступки: лень, упорное уклонение от тяжелой работы, оскорбление товарища и вообще всякие нарушения интересов коллектива — наказываются исключением виновного из колонии. Но эти случаи крайне редки, каждый из совета командиров хорошо помнит свою жизнь на воле, помнит это и провинившийся, которому грозит жизнь в детдоме, учреждении, единодушно не любимом «беспризорными».

Одна из традиций колонии — «не заводить романов со своими девочками». Она строго соблюдается, за все время существования колонии была нарушена один раз, и это кончилось драмой — убийством ребенка. Юная мать спрятала новорожденного под кроватью, и он задохся там, а она получила по суду «четыре года изоляции», но была

отдана на поруки колонии и впоследствии, кажется, вышла замуж за отца ребенка. Другая традиция: когда приводят мальчика или девочку из угрозыска, строго запрещается расспрашивать его: кто он, как жил, за что попал в руки уголовного розыска? Если «новенький» сам начинает рассказывать о себе — его не слушают, если он хвастается своими подвигами — ему не верят, его высмеивают. Это всегда отлично действует на мальчика. Ему говорят:

— Ты видишь: здесь — не тюрьма, хозяева здесь — это мы, такие же, как ты. Живи, учись, работай с нами, не понравится — уйдешь.

Он быстро убеждается, что все это — правда, и легко вращается в коллектив. За семь лет бытия колонии было, кажется, не более десяти «уходов» из нее.

Один из «начальников» Д. попал в колонию тринадцати лет, теперь ему семнадцать. С пятнадцати он командует отрядом в полсотни человек, большинство старше его возрастом. Мне рассказывали, что он — хороший товарищ, очень строгий и справедливый командир. В автобиографии своей он пишет:

«Бувши комсомольцем, захопився анархизмом, за що и був виключений». «Люблю життя, а йому найбільше музику и книгу». «Люблю страшенно музику».

По его инициативе колонисты сделали мне прекрасный подарок: двести восемьдесят четыре человека написали и подарили мне свои автобиографии. Он, Д., — поэт, пишет лирические стихи на украинском языке. Стихотворцев-колонистов — несколько человек. Издается отлично иллюстрированный журнал «Промінь», редактируют его трое, иллюстратор Ч., тоже «командир», человек безусловно талантливый и серьезный, к таланту своему относится недоверчиво, осторожно.

Он — беженец из Польши и свое беспризорное существование начал восьми лет. Был в Ярославле в детколони, но оттуда бежал и занялся работой по карманам в трамваях. Затем попал к технику-дантисту и у него «пристрастился к чтению и рисованию». Но «улица потянула», убежал от дантиста, захватив «несколько царских золотых монет». Растратил их на книги, бумагу, краски. Плавал по Белому морю помощником кочегара, но «по слабости зрения вынужден был сойти на берег». Работал

«инструктором по сбору натурального налога» на Печоре, среди ижемских зырян, изучил язык зырян, жил у самоедов; перевалил на собаках через Уральский хребет в Обдорск, попал в Архангельск; воровал там, жил в ночлежке; затем стал писать вывески и декорации. Работал в изо, попутно приготовился за семилетку, подделал документы и поступил в вятский художественно-промышленный техникум. «Экзамен сдал одним из первых, а по живописи и рисованию был признан талантливым, но — не поверил в это». Выбрали в студенческий комитет, вел культурную работу. Зимой, в каникулы, был арестован, «засыпался с документами, до весны просидел в исправдоме». Но и там не переставал работать над книгой, и там вел культурную работу. Потом был репортером «Северной правды».

Все это рассказывается без хвастовства и, конечно, без тени желания вызвать сочувствие. Нет, рассказывается просто, так: шел болотом, потом лесом, запутался, вышел на проселочную дорогу, песок, идти тяжело.

Пересказывать всю биографию Ч. — долго. Она, пока, закончилась тем, что вот он добровольно пришел в колонию на Куряже, живет там, деятельно работает, учится, учит маленьких. «Попрежнему — хочу быть человеком, люблю книгу и карандаш», — говорит он. Это — красивый, стройный юноша в очках, лицо — гордое, говорит он кратко, сдержанно. Удивительно внимателен он с маленькими, удивительно мягок с товарищами, равными ему по возрасту. Может быть, это потому, что в жизни его был такой случай: в Архангельске он «познакомился с одним парнем, тоже художником, к тому же боготворившим литературу. Звали его Васькой. Но долго прожить с ним не пришлось, он повесился, наколов на груди своей бумажку: «Должен хозяйке восемь копеек, если будет — отдай».

Ч., несомненно, очень богато одаренный юноша, и теперь он уже не пропадет, я думаю. Биография его — не исключительна, таких большинство среди прочитанных мною и рассказанных мне.

Откуда «беспризорные»? Это — дети «беженцев» из западных губерний, разбросанные по России вихрем войны, сироты людей, погибших в годы гражданской

распри, эпидемий, голода. Дети с дурной наследственностью и неустойчивые пред соблазнами улицы, очевидно, уже погибли, остались только вполне способные к самозащите, к борьбе за жизнь, крепкие ребята. Они охотно идут на всякую работу, легко подчиняются трудовой дисциплине, если она тактична и не оскорбляет их сознания собственного достоинства; они хотят учиться и хорошо учатся. Им понятно значение коллективного труда, понятна его выгодность. Я бы сказал, что жизнь, хотя и суровая, но превосходная воспитательница сильных, воспитала этих детей коллективистами «по духу». Но в то же время почти каждый из них — индивидуальность, уже очерченная более или менее резко, каждый из них — человек «со своим лицом». Колонисты Куряжской трудовой колонии вызывают странное впечатление «благовоспитанных». Это особенно наблюдается в их отношении к «маленьким», к новичкам, которые только что пришли или которых привели. Маленькие сразу попадают в ошелмляющие условия умной заботливости со стороны страшноватых — на улице — подростков. Ведь вот такие подростки колотили их, эксплуатировали, учили воровать, пить водку, учили и еще многому. Один из «маленьких», пастушонок, отлично играет в оркестре колонии на флейте, — выучился играть в пять месяцев. Очень забавно видеть, как он отбивает такт голый, чугуниного цвета, лапой. Он сказал мне:

— Когда я сюда пришел, так испугался; ой-ёй, думаю, сколько их тут! Уж как начнут бить — не вырвешься! А ни один и пальцем не тронул.

Удивительно легко и просто чувствовал я себя среди них, а я — человек, не умеющий говорить с детьми, всегда боюсь, как бы не сказать им что-то лишнее, и эта боязнь делает меня косноязычным. Но дети Куряжской колонии не будили у меня эту боязнь. Впрочем, и говорить с ними не было нужды, они сами хорошие рассказчики, и каждому из них есть что рассказать.

Отлично выработанное между ними чувство товарищества распространяется, конечно, и на «дивчат», — их в колонии свыше полусотни. Одна из них, лет шестнадцати, рыжеватая, веселая, с умными глазами, рассказывая мне о прочитанных ею книжках, вдруг сказала задумчиво:

— Вот я говорю с вами, а два года была проституткой.

Потрясающие слова эти были сказаны так, как будто девушка вспомнила дурной сон. Да и я, в первую минуту, принял ее слова так, как будто они только неожиданное «вводное предложение», ненужно вставленное в живые строки рассказа.

Так же, как юноши, девицы здоровы, так же «благовоспитанно» держатся, работают во всю силу и с тем жаром, который даже тяжелую работу делает веселой игрой. Они — «хозяйки» колонии, тоже разделены на отряды, тоже имеют своих «командиров». Они моют, шьют, чинят, работают в поле, на огороде. В столовой, спальнях колонии чисто и, хотя не «богато», серо, но — уютно. Руки девушек украсили углы и стены ветками зелени, букетами полевых цветов, пучками сухих пахучих трав. Всюду чувствуется любовный труд и стремление украсить жизнь четырех сотен маленьких людей.

Кто мог столь неузнаваемо изменить, перевоспитать сотни детей, так жестоко и оскорбительно помятых жизнью? Организатором и заведующим колонией является А. С. Макаренко. Это бесспорно талантливый педагог. Колонисты действительно любят его и говорят о нем тоном такой гордости, как будто они сами создали его. Он — суровый по внешности, малословный человек лет за сорок, с большим носом, с умными и зоркими глазами, он похож на военного и на сельского учителя из «идейных». Говорит хрипло, сорванным или простуженным голосом, двигается медленно и всюду поспекает, все видит, знает каждого колониста, характеризует его пятью словами и так, как будто делает моментальный фотографический снимок с его характера. У него, видимо, развита потребность мимоходом, незаметно, приласкать малыша, сказать каждому из них ласковое слово, улыбнуться, погладить по стриженной голове.

На собраниях командиров, когда они деловито обсуждают ход работы в колонии; вопросы питания, указывают друг другу на промахи в работе отрядов, на различные небрежности, ошибки, — Антон Макаренко сидит в стороне и лишь изредка вставляет в беседу два-три слова. Почти всегда это слова упрека, но он произносит их как старший товарищ. Его слушают внимательно и не сте-

сняются спорить с ним — как с двадцать пятым товарищем, который признан двадцатью четырьмя умней, опытней, чем все они.

Он ввел в обиход колонии кое-что от военной школы, и это — причина его разногласия с украинским наробразом. В шесть часов утра на дворе колонии труба поет сигнал: «Вставать!» В семь часов после завтрака новый сигнал, и колонисты строят каре посредине двора, в центре каре — знамя колонии, по бокам знаменосца — два товарища-колониста с винтовками. Перед фронтом Макаренко в краткой форме говорит ребятам о деловых задачах дня и, — если есть провинившиеся в чем-либо, — объявляются выговоры, установленные советом командиров. Затем командиры разводят отряды свои по работам. Весь этот «церемониал» нравится детям.

Но еще более церемонно и даже торжественно колония сдавала пять вагонов ящиков представителю завода-заказчика. Гремел оркестр колонии, говорились речи о великом значении труда, создающего культуру, о том, что только свободный, коллективный труд приведет людей к жизни справедливой, только уничтожение частной собственности сделает людей друзьями и братьями, уничтожит все горе жизни, все ее драмы. Невозможно было без глубочайшего волнения смотреть на ряды этих милых, серьезных рожниц, на четыре сотни пар разноцветных глаз, когда они с гордостью, с улыбками смотрели на подводы, тяжело груженные деревом, обработанным столярами-колонистами. Великолепно, дружно прозвучало гордое «ура» четырех сотен грудей. А. С. Макаренко умеет говорить детям о труде с тою спокойной, скрытой силой, которая и понятней и красноречивее всех красивых слов. А о нем, на мой взгляд, прекрасно рассказывает вот эта выдержка из написанного им маленького предисловия к биографиям воспитанных им колонистов:

«Когда я печатал сотую биографию, я понял, что я читаю самую потрясающую книгу, которую мне приходилось когда-либо читать. Это концентрированное детское горе, рассказанное такими простыми, такими безжалостными словами. В каждой строчке я чувствую, что эти рассказы не претендуют на то, чтобы вызвать у кого-нибудь жалость, не претендуют ни на какой эффект, это простой,

искренний рассказ маленького, брошенного в одиночестве человека, который уже привык не рассчитывать ни на какое сожаление, который привык только к враждебным стихиям и привык не смущаться в этом положении. В этом, конечно, страшная трагедия нашего времени, но эта трагедия заметна только для нас, для горьковцев здесь нет трагедии — для них это привычное отношение между ними и миром.

Для меня в этой трагедии, пожалуй, больше содержания, чем для кого-либо другого. Я в течение восьми лет должен был видеть не только безобразное горе выброшенных в канаву детей, но и безобразные духовные изломы у этих детей. Ограничиться сочувствием и жалостью к ним я не имел права. Я понял давно, что для их спасения я обязан быть с ними непреклонно требовательным, суровым и твердым. Я должен быть по отношению к их горю таким же философом, как они сами по отношению к себе.

В этом моя трагедия, и я ее особенно почувствовал, читая эти записки. И это должно быть трагедией всех нас, от нее мы уклониться не имеем права. А те, кто дает себе труд переживать только сладкую жалость и сахарное желание доставить этим детям приятное, те просто прикрывают свое ханжество этим обильным и поэтому дешевым для них детским горем».

Кроме колонии в Куряже, я видел под Харьковом еще колонию имени Ф. Э. Дзержинского. В ней только сотня или сто двадцать детей, и, очевидно, она основана для того, чтобы показать, какой, в идеале, должна быть детская трудовая колония для «правонарушителей», для «социально-опасных». Она помещается в двух этажах специально построенного для нее дома в девятнадцать окон по фасаду. Три мастерских — деревообделочная, обувная и слесарно-механическая — обставлены новейшими машинами, снабжены богатым набором инструментов. Отличная вентиляция, большие окна, много света. Дети — в удобной прозодежде, спальни — просторны, хорошее постельное белье, ванны, души, чистенькие светлые комнаты для учебных занятий, зал для собраний, богатая библиотека, обилие учебных пособий, всюду блеск, чистота, — все это образцово, «напоказ», да и дети подобраны тоже «как будто напоказ», — такие все здоровяки. В этой колонии можно

многому научиться устроителям таких учреждений. При колонии — богато обставленный совхоз, летом дети работают в поле.

Затем — Бакинская колония в 500 человек, два корпуса за городом, среди выжженных солнцем холмов, на серой, сухой земле. Она недавно основана и находится в периоде организации, но дети уже мечтают о том, как они устроят зоосад. Напряженно и весело кипит муравьиная работа маленьких, обожженных солнцем людей. Колонией заведует человек, влюбленный в свое дело так же страстно, как А. С. Макаренко.

В общем я видел около 2500 «беспризорных», и это останется одним из глубочайших впечатлений на весь остаток моей жизни. Замечательно стойкие и своеобразные люди должны выработаться из этих детей, бодрых, здоровых, увлеченных серьезным трудом.

В каждой колонии я невольно вспоминал немецких детей «военного времени» в Херингсдорфе, летом 22 года. Их там было, кажется, свыше тысячи рахитиков, золотушных, туберкулезных, близоруких. В хорошую погоду они с утра до вечера играли на песке пляжа, купались в море. Собраны были дети возраста от шести до двенадцати лет, но — трудно было догадаться, кому из них восемь, кому двенадцать, — все они были измучены голодом, отравлены «эрзац»-пищей, награждены болезнями, и многие из них казались старенькими карликами. Среди этого племени невинно пострадавших за грехи отцов особенно трагическое впечатление вызывали маленькие люди в темных очках или в «очках стариков» с очень сильными стеклами.

А в то время как на песке пляжа невесело играли сотни живых укоров негодьям, которые, удовлетворяя свою жажду власти, жажду денег, затеяли преступнейшую европейскую бойню, в то время, как полуголодные дети устало шли есть свой горький хлеб, — в это время тут же, недалеко от них, один из детей Вильгельма Гогенцоллерна превесело играл мячиком на теннисе, а в купальнях толстые бабищи, наложницы шиберов, ожиревшие вместе с ними от выпитой крови, топали двухпудовыми ножницами, отплясывая в купальных костюмах фокстроты.

Творец культуры — человек, он же и цель ее. Основным качеством действительно культурного человека должно бы служить именно сознание им его ответственности перед наследниками и продолжателями его работы — пред детьми. Изумительно, до чего слабо развито это сознание.

Я хорошо помню, как возмущались «культурные» отцы системой преподавания в гимназиях дореволюционного времени, глупейшим учебником русской истории Иловайского, катехизисом Филарета, греческим языком. И не менее хорошо я знаю, что эти же самые отцы устраивали детям своим драматические сцены, доводили их до истерики, а в двух случаях — до самоубийства, именно потому, что дети не могли преодолеть трудностей греческого языка и плохо усваивали глупости Иловайского и Филарета.

В коммуне «Авангард», — кстати, очень хорошо описанной Федором Гладковым *, — я сказал организатору коммуны Лозницкому:

— Хороши у вас дети!

— Оттого, что живут не в семьях, — тотчас ответил он, а кто-то из коммунаров добавил:

— У вас о новом-то человеке говорят да пишут, а мы вот практически пробуем помочь ему вырасти...

Добавочка эта прозвучала довольно ехидно и как будто вызовом на словесный поединок, а в словах Лозницкого я почувствовал, что общественное воспитание детей для него — практическое дело, продуманное и решенное. Он, Лозницкий, человек среднего роста, внешне — «обыкновенный хлебороб», высушенный солнцем, степным ветром и заботами о своем маленьком государстве. На небритом лице металлически блестят глаза, должно быть, довольно зоркие. Заметно, что он не очень обрадован приездом гостей, он живет уже в своем мире, и люди, явившиеся откуда-то издалека, мало интересны ему. Да, кажется, и все товарищи его любят гостей как бездельниками. Говорит Лозницкий кратко, деловито, «кон-

* Ф. Гладков, Коммуна «Авангард», Гиз, 1928, ц. 8 коп.

спективно» и явно не заботясь о том, чтоб убедить словами, но удивительно умело показывая хозяйство коммуны. Он, видимо, давно уже отвык от «я» и употребляет только «мы». За несколько часов он только два раза юмористически усмехнулся:

— Не знали мы, что мужикам стыдно какао пить, а вот в «Комсомольской правде» попрекнули нас за это. Непонятное дело: водку — пей, а какао — не моги! Так, что ли?

И усмехнулся, по небритому лицу его точно веселый ветерок пробежал. А еще усмехнулся он в ответ на мой вопрос: правда ли, что крестьяне ближайших деревень желают перестроить свои хозяйства тоже на коммунальный лад и будто бы подали немало заявлений об этом?

— Что ж — не верите? Может — показать документы?

И слово «документы» прозвучало в его устах весьма нелестно для любителей документов. Я вспомнил, что вот в таком гордом тоне говорили с полицией люди, у которых документы были в полном порядке. Этот «обыкновенный хлеботор» стоит во главе ста шестидесяти коммунаров, у них около 760 гектаров земли, в 27 году общий оборот коммуны превысил 800 тысяч рублей. Продали тридцать тысяч пудов хлеба.

— Социализм в деревню можно укрепить только так, как это мы делаем, — говорит он спокойно и уверенно. — Крестьянин — он прежде всего практик, он хорошо видит выгоду коллективного труда. Конечно — хозяйство коммуны нашей далеко не совершенно, однако мужик считать умеет. Край засушливый, — вздыхает Лозницкий. — Вот если б орошение... Водички бы нагнал нам Днепрострой этот... Пишут, что где-то удобрения много нашли?

Показав работу в механической мастерской и силовую станцию, он снова возвращается к этой теме.

— Бабы, пожалуй, чувствуют выгоду коммуны едва ли не лучше мужиков. Видят, что нашим женщинам легче жить, свободней, да и дети у них... Ну, детей вы сами видели.

Видел. Десятка два хорошо упитанных ребятишек, грудных и годовалых, спали в общей спальне. В сумрачной прохладе ее — ни одной мухи. Сон детей оберегает дежурная мать, она, в белом халате, двигается бесшумно.

Молодая, лет двадцати. В этой же хате чистенькая, светлая комната для двух-трехлетних коммунаров, с мебелью по росту им, игрушечные столы, стулья.

— Тесно, — жалуется учительница и товарищ руководитель культурной работой в колонии.

— Да, тесно живем, — подтверждает Лозницкий. — Лесу нет. Школу надо строить. Школа у нас плохая, а нам нужно образцовую школу. У нас все должно быть образцово. Эти, наши чиновники... не понимают!

Судорожным движением разгневанного человека Лозницкий прячет крепкие руки свои за спину и тихонько крикает.

Потом мы обедаем в столовой коммуны, за два блюда — вкусный борщ и жареное мясо — с нас взяли по 16 копеек с человека.

— Вода скверная у нас, — говорит Лозницкий в тон глуховатому гулу электромотора механической мастерской, где изготавливают бороны для крестьян, чинят сельскохозяйственные машины. Постукивают молотки в кузнице. Где-то близко хрюкают свиньи, коммунной налажен «беконный завод». На дворе, в квадрате низеньких и длинных хат, шумно совещается группа детей школьного возраста — все такие хорошие, крепкие ребята, загоревшие на солнце. Они уже рассказали мне о разнообразии своей жизни, похвастались немножко знанием хозяйства коммуны, участием в ее работе. И один из них, указывая на хаты жестом хозяина, совершенно серьезно сказал:

— Мы их перестроим!

А другой, усмехаясь, сообщил:

— Эта — конюшней была, а вот в ней люди живут, и не узнаете, что конюшня.

Несколько часов в маленьком новом государстве похожи на сон. Мне вспомнилась старинная книжка затравленного мещанами, умершего в 1848 году революционера и атеиста Иоганна Цшокке «Делатели золота», я ее прочитал, когда мне было лет пятнадцать, и, прочитав, тоже несколько дней жил, как во сне.

Когда оглядываешься назад — видишь, как паразитально далеко ушла жизнь от прошлого и как она все быстрее идет в будущее. Лозницкий кажется мне человеком давно знакомым, — лет сорок тому назад, на бес-

конечных, запутанных дорогах России, я встречал людей, похожих на него. Это были люди, оторвавшие себя от земли, от семьи, от нищенского хозяйства, бесплодно истощавшего их силы, это были упрямые искатели несокрушимо прочной правды, люди, гонимые мечтой о ней из конца в конец страны, из Вологды в Закавказье, из Смоленска в Сибирь. Были эти люди сумрачные, недоверчивые, не очень зрячие, иногда — озлобленные бесплодностью своих поисков, нередко — буйные, оттого, что потеряли все свои надежды «дойти до правды». Вероятно, они уже погибли за эти четыре десятка лет, износились, расплылись на путях своих. Не жалко — бесполезные люди.

На место их жизнь выдвигает вот таких, как Лозницкий, людей, которые нашли правду, овладели ей, бережно, как любимое дитя, растят ее, укрепляют ее в расшатанную жизнь, — строят правду так же, как предки их строили посады и крепости в лесных дебрях, среди полудиких племен.

Лозницкий — из тех еретиков, каким был коммунист Ян Гус, сожженный на костре, разница только та, что Лозницкий и подобные ему сами разжигают костер, на котором должно сгореть все, что накоплено веками кошмарной жизни в душах рабов земли.

Снова — 117 километров — четыре часа на автомобиле от села к селу. Когда-то я ходил пешком по гладкой скуке этого края. Теперь, после того как пожил в странах, где города и села стоят почти бок о бок, эти степные места кажутся мне еще более пустынными. О том, что это — неверно, я должен напоминать себе, потому что впечатлительные пустынности, незаселенности растут. Огромная плоская равнина расползлась, размазана во все стороны, до горизонта, местами она лысая — хлеб снят, — но таких лысин немного, преобладают густые заросли подсолнуха и широкие полосы кукурузы: ее жирная зелень, чередуясь с ярким золотом мохнатых цветов подсолнечника, одевает землю степи тяжелой, пышной шубой.

Наш сильно пожилой автомобиль катится не торопясь, хрипит и чихает, вздымая облака пыли. Со стороны он, должно быть, похож на жука, так же как два трактора, ползающие далеко по лысине степи.

— Там совхоз, — сказал один из провожатых, другой поправил его:

— Колхоз.

Этот другой — «товарищ из Запорожья», — человек очень скромный, без «особых примет»; людей такой «обыкновенной» внешности я часто встречал среди батраков в экономиях Украины. Необыкновенна в нем емкость его зрительной памяти и поразительное знание края.

— Тут скоро песок будет, — гектара два, — предупредил он шофера. — Вы, товарищ, вертайте у леву сторону. Оно не так, чтоб настоящий песок, а — очень мятая дорога. В этой балочке бандиты много людей порезали, — рассказывает он так просто, как будто говорит о кустарном промысле.

— Потом чего-сь не поделили меж собой и друг друга начали убивать. Тут скрозь Махно гулял. Одних мостов взорвано по всему краю двадцать восемь. Видели? Ще много сковерканного железа лежит не убрано коло линии. Вредный был, сучий сын! Много разврату и разорения внес. Ну, есть, конечно, люди, что и побогатели около него...

Он коренастый, крепкий, «человек надолго». Смотрит в пустынные дали, спокойно прищуриль глаза, и, не возмущаясь, рассказывает:

— Кровавая земля. Много людей побито здесь, ну, и сами они тоже чужой крови не жалели.

— А теперь — разумнее живут?

— Это — так, — говорит он, но, помолчав, продолжает: — Для себя — разумней, а для жизни — не скажу. Вот — дорога. Разве это — дорога? Только мучить коней. А сами поправить — не хотят, все должен делать для них город, — «казна», говорят они. Не понимают ще, что разумом только для себя уже и невыгодно да и стыдно жить...

Он, должно быть, из тех «дальнозорких», которые хорошо видят, как трудна дорога в будущее, но не смущаются трудностью ее.

Пасется большое стадо. Жара и пыль. Из пустынной земли медленно поднимается село, анархически расплывшееся по ней, оно могло бы вместить небольшой уездный город. На улице, нелепо широкой, можно бы построить

еще «порядок» беленьких хат, длина улицы версты две. Сколько земли бесполезно занимает она? На площади, над крышей большого дома, торчат мачты радио. Десятка полтора хат покрыты не соломой, не камышом, а белой черепицей. Это для меня такая же новость, как радио в деревне. Во дворах и на левадах — красные машины, где-то хлопотливо стучит молотилка. У «криницы» стоят два воза, нагруженные тесом, молодой рослый парень кормит лошадь, — сует ей в зубы краюху ржаного хлеба. В тени другого воза лежит брюхом на земле бородатый человек, перед ним — клетка, в клетке большой белый петух. Всюду сушится саманный кирпич. Серые «дядьки» и «жинки» смотрят из-под ладоней на автомобиль, перегруженный людьми, за автомобилем гонятся собаки, человек с физиономией «урядника» бросил в собак палкой и, размахивая руками, орет. Орать — бесполезно: собака не может уку-сить автомобиль. С поля в село входит группа детей, все — маленькие, лет до десяти, среди их — рыжеватая девушка, очевидно — учительница. За селом десятка полтора женщин месит ногами глину; длинный, костлявый старик рубит саман. Строится деревня.

— Это было бандитское село, — говорит товарищ и советует шоферу: — Езжайте направо, выгадаем шесть верст, а дорога — не хуже...

Снова развернулась степь, а минут через сорок снова из-под земли приподнялось огромное село. У мостика, на берегу грязной речки, через которую легко перепрыгнуть, дымится большая куча навоза, лежит труп собаки, над ними туча мух; тут же, в синем дыму, возятся трое ребятишек лет пяти, шести. Очень знакомая картина. Под плетнями и на дворах — густейшие заросли сорных трав; осенний ветер разнесет семена их по полям. Качаясь во все стороны, идет пьяный, под мышкой у него каравай хлеба, он подпоясан новой веревкой, конец ее змеєю тянется по земле.

Остановились выпить пива. Тотчас собралась куча жителей, все люди, мало похожие на крестьян, все в городских пиджаках, в сапогах. Один из них, давно и очень знакомый «тип» сельского шута и забавника, начинает играть привычную роль: веселым голосом, с ехидной усмешечкой в пыльных глазах, говорит, что одни люди ездят

на автомобилях и пьют пиво, а другие — ходят за плугом и пить им — нечего.

— Разве же усю горилку моськовску учора вылокали? — спрашивает подросток и прячется за спину человека с огромным животом и такой густой щетиной на лице, что невольно думается: все его тело от плеч до пят покрыто такими же серыми иглами. Он — в тяжелом похмелье, смотрит прямо перед собой ошалевшим взглядом маленьких глаз, налитых кровью, но, должно быть, ничего не видит. Публика слушает шуточки своего забавника равнодушно, а он шутит уже ласково и явно напрашивается на бутылку пива.

— Отцепись, — резко говорит ему высокий, вихрастый человек и спрашивает у одного из моих спутников что-то о семенах, озимях. Через разрушенный плетень вижу соседний двор, у стены хаты за столом сидят трое, перед ними на большом глиняном блюде — яичница, бутылка водки, лысый старик режет хлеб, а сосед его, чернобородый мужчина, измазанный сажей и маслом, повалил на колени себе мальчугашку лет семи и черными руками щечочет, — мальчуган взвизгивает поросенком, кричит:

— Пусти, приехали люди с города, — ой!

Забавник приуныл и философствует:

— А мы — знаем: люди дело делают, абы дело людей? Мы же не знаем этого!

В толпе вокруг нас ни одной женщины, да и на улицах они встречаются не так часто, как мужчины, должно быть, все в работе. Мальчик вырвался из рук чернобородого, отбежал в сторону и обругал его:

— Чорт железный!

— А я тебя на трактор не возьму, — пригрозил чернобородый.

Едем дальше по широкой улице огромного села. Площадь, на которой свободно поместится бригада солдат, посредине площади — неуклюжая церковь, от ее синей луковицы к земле опускаются белые стены, церковь похожа на толстую купеческую сваху в шелковой «головке». Снова изредка мелькают чистенькие хатки, крытые белой черепицей. Снова размахнулась во все стороны степь, густо покрытая золотыми бляхами цветов подсолнечника и густой зеленью кукурузы.

— Озимые здесь выгорели, — объясняет товарищ.

Автомобиль, заглушая голоса, храпит и вертится по серой ленточке дороги, стремясь выбежать из круга степи, кажется, что он все время бежит только по кругу. Часто пересекаем линию железной дороги, проезжая под мостами, почти около каждого лежит исковерканное взрывами железо. Откосы линии заросли сорными травами. Вспоминаются гладко причесанные поля Германии, их почти идеальная чистота, отсутствие паразитных растений. Мысли все время забегают в далекое прошлое, точно скользят по кругу, поставленному наклонно, градусов в сорок пять. На нижней половине круга — отрочество мое, юность, на верхней — современные дети.

В Москве, на школьном празднике 56 школы, четырнадцатилетний мальчик, а за ним девушка старше его не более, как на год, говорили речи, — мальчик «о текущем моменте и задачах воспитания», девушка «о значении науки». Было ясно, что обе темы эти не только «заучены» ораторами, но вросли в сознание детей, — ясно потому, что дети нарядили их в свои слова. Мальчуган, может быть, неожиданно для себя самого, сказал неслыханные, поразившие меня слова:

«Наши друзья отцы и матери, наши товарищи!»

Говорил он, как привычный оратор, свободно, с юмором, даже красиво; девочка говорила с большим напряжением чувства, тоже своими словами о борьбе знания с предрассудками и суевериями, о «богатырях науки».

«Ну, эти двое — исключительно талантливы», — подумал я.

А затем на различных собраниях я слышал не один десяток таких же ораторов-пионеров. Каждый из них входит в жизнь с лозунгом «Всегда готов». И в этой готовности продолжать освободительную работу своих отцов «друзей», работу строения новых форм жизни я слышал, конечно, неизмеримо больше и смысла и силы, чем в «аннибаловых клятвах» добродушных юношей пятидесятых годов и в красноречии всех народолюбцев. Это уже не «милосердие сверху», не гуманизм от ума, а творческая энергия из почвы, от корней жизни.

Приехали ко мне тверские пионеры, человек десять, — мальчики и девочки. Комната — маленькая, тесная; трое

сели на стульях, остальные — на полу. Сразу бросилась в глаза свобода и легкость их движений, сознание ребятами своей внутренней независимости, привычка говорить со взрослыми, умение ставить вопросы. Сидели они, вероятно, часа полтора-два, рассказывали о своей учебе, экскурсиях, о «самодетельности», спрашивали об Италии, о моих впечатлениях в Москве. Когда они ушли, у меня осталось впечатление: приходил взрослый человек, интересный, веселый, с напряженной жадностью все знать, все понять.

— Обязательно, ребята, изучать языки, — сказала одна из девиц. — Обязательно, если мы люди Третьего Интернационала, — строго прибавила она, а лет ей тоже, наверное, не более пятнадцати. Когда они ушли, я не мог не вспомнить, что в их возрасте даже десятая часть того, что они знают, мне была неизвестна. И еще раз вспомнил о талантливых детях, которые погибли на моих глазах, — это одно из самых мрачных пятен памяти моей.

...В коммуне пионеров где-то на окраине Москвы, в стареньком двухэтажном доме ребята с гордостью водили меня по своему хозяйству, по маленьким чистым комнатам, с восторгом рассказывали о том, как гостили у них в колонии пионеры-французы и маленький француз Леон, не желая возвращаться на родину, прятался от своих земляков, плакал, упрашивая, чтоб они оставили его в России. Стены комнат колонии оклеены пестрыми плакатами, диаграммами и рисунками детей на различные героические темы.

— Ну, это — так себе, — правильно сказал о картинах один пионер. Да — «так себе». На одной из них оранжевые облака похожи формой на французские булочки, зеленовато-синие деревья — на малярные кисти, но голубые пятна между облаков, золотистый песок и все вместе сделано очень гармонично по краскам. И так всегда, всюду, где я видел детей, сверкали искорки талантливости.

Показывали мне дети «живую газету», — ряд маленьких пьес, написанных хорошим, легким стихом, — автор стихов — один из признанных поэтов, не помню кто. «Передовая статья» — пионерка, отлично декламировала стихи о необходимости культурной работы в деревне. Затем группа девушек бойко разыграла статью о пользе

яслей, одна из девиц, исполнявшая роль деревенской бабы, которая не понимает возможности общественного воспитания детей, обнаружила неоспоримый комический талант. Следующая песня-песня рассказывала о заразительности туберкулеза, и так была разыграна вся «живая газета», с веселым «фельетоном», со смешной «хроникой». Все это под звуки пианино, и все сделано так, что дети незаметно для себя с горячим увлечением подходят к запросам действительности, учатся сознательному отношению к жизни огромной своей страны.

Показывали мне пионеры «10 Октябрей», интересное стихотворение для декламации. «Октябри» были одеты в шишаки красноармейцев, вооружены копьями и щитами и от первого до десятого являлись один за другим все более крупными. Ребята отлично умеют декламировать хором, прекрасно, легко и свободно двигаются под музыку. Они здоровы, веселы, и все, что они делают, искренно увлекает их.

Пионеров я видел сотни в Москве, на Украине, на Кавказе, на Волге. Прекрасное впечатление вызывают они. За пять месяцев только один раз дети напомнили мне старую Русь. Это было на улице села Морозовки, шел мальчик лет десяти, а другой, одноленок, сидел на крыльце, и вот между ними разыгрался очень знакомый, очень старый и почти аллегорический диалог:

- Миша, ты — куда?
- Я — никуда. А ты — куда?
- И я — никуда.
- Тогда — идем вместе.

И, как будто вспомнив, разыграв старый анекдот из детской книжки, молча, медленно пошли в поле.

Пионеры хорошо знают, куда им нужно идти.

Совершенно неоспоримо, что у нас, в Союзе Советов, за десять лет очень хорошо развилось сознание ответственности пред детьми, об этом лучше всего говорит факт понижения смертности детей до пятилетнего возраста, здоровье шести-двенадцатилетних и «отроков». Невозможно отрицать и тот факт, что, несмотря на жилищную тесноту в городах, — бытовые условия жизни детей значительно улучшены. С первых же дней рожденья о них начинают разумно заботиться. Ясли, детские сады,

гимнастика, экскурсии — все это, разумеется, должно дать и дает отличные результаты. Иногда кажется, что дети развиты не в меру их возраста. Но это кажется лишь в те минуты, когда, вспоминая однообразие прошлого, забываешь о непрерывном потоке новых «впечатлений бытия».

Организованное и правомощное участие в общественных праздниках действует на разум и воображение детей, разумеется, сильнее, чем действовало на «бывших детей» подневольное участие в церковных службах, крестных ходах и военных парадах «царских дней». Место чудес, о которых отцам и матерям — «бывшим детям» — рассказывали бабушки и дедушки, заняли действительные, доступные наблюдению чудеса, ребенок видит их и знает, что эти чудеса создает его отец. Это отцы устроили громкоговорители радио на площадях городов, в квартирах, в сельских клубах, в избах-читальнях. Отцы летают по воздуху на машинах, сделанных ими же, — дети знают это, они были на фабрике аэропланов, на автомобильном заводе, на силовой станции.

Все, что возбуждает мысль и воображение ребенка, делается не какими-то неведомыми силами, а вот этой тяжелой милой рукой, которая сейчас гладит голову своего октябренка или пионера. В школе ему, октябренку, понятно рассказывают о том, как просты все чудеса и как медленно, с каким трудом отцы научились делать их. Уже скучно слушать о «ковре-самолете», когда в небе гудит аэроплан, и «сапоги-скороходы» не могут удивить, так же как не удивит ни плавание «Наутилуса» под водой, ни «Путешествие на луну», — дети знают, видят, что вся фантастика сказок воплощена отцами в действительность и что отцы совершенно серьезно готовятся лететь на луну. Отец может рассказать о героических битвах Красной Армии более интересно, чем бабушка или дед о подвигах сказочных богатырей, и может рассказать о своих подвигах партизана, в которых чудесного не меньше, чем в любой страшной сказке. Действительность разворачивается пред детьми не как сложнейшая путаница непонятных явлений, противоречивых фактов, а как наглядный процесс работы отцов, которые, разрушая отжившую действительность, создают новую, в которой дети будут жить еще более свободно и легко.

Я не против фантастики сказок, они — тоже хорошее, добротное человеческое творчество, и, как мы видим, многими из них предугадана действительность, многими предугаданы и те изумительные подвиги бесстрашия, самоотречения ради рабочего классового дела, о которых рассказывают книги, посвященные описанию классовой войны 18—21 годов. Нет, я не против героической фантастики старых сказок, я — за создание новых, таких, которые должны перевоспитать человека из подневольного чернорабочего или равнодушного мастерового в свободного и активного художника, создающего новую культуру.

На пути к созданию культуры лежит болото личного благополучия. Заметно, что некоторые отцы уже погружаются в это болото, добровольно идут в плен мещанства, против которого так беззаветно, героически боролись.

Те отцы, которые понимают всю опасность такого отступления от завоеванных позиций, должны хорошо помнить о своей ответственности пред детьми, если они не желают, чтоб вновь повторилась скучная мещанская драма разлада «отцов и детей», чтоб не возникла трагедия новой гражданской распри.

III

В 17 году, в Петрограде, около цирка «Модерн», после митинга, собралась на улице толпа разношерстных людей и тоже устроила митинг. Преобладал в толпе мелкий обыватель, оглушенный и расстроенный речами ораторов, было много женщин — «домашней прислуги». Человек полтораэта тесно сгрудился в неуклюжее тело, а в центре его — десяток солдат, они сердито покрикивали на одного из своих товарищей, рослого, бородатого, в железном котелке на голове, с винтовкой за острым плечом. Лицо у него простое, очень плоское, нос широко расплылся по щекам, синеватые глаза выпуклы. Железный котелок, приплюснув это лицо, сделал его немножко смешным. Правая рука — на загрязненной и скрученной перевязи, но ладонь ее свободна, и пальцы непрерывно шевелятся на груди, почесывая дряхлую, вытертую шинель.

Когда на него кричало несколько голосов сразу, он молчал, прижимая левую ладонь к бороде, закрывая рот, а когда вокруг становилось потише, он, поглаживая ладонью приклад винтовки, говорил внятно, деловито и не волнуясь:

— Что же, я сам — крестьянин, только вижу, что рабочие понимают свой интерес лучше мужиков. И жалости к себе у рабочего меньше...

Растолкав солдат, к нему продвинулась большая, краснощекая женщина и сказала:

— Де-зер-тир ты! И все вы — дезер-тиры!..

Он отмахнулся от нее, точно от мухи, и продолжал тоном размышляющего:

— Мужик побунтует — на коленки становится, прощенья просит, а рабочий в тюрьму идет, в Сибирь. В пятом году здесь тыщи рабочих перестреляли, а — сколько по всей России, в Сибири — счету нет.

Снова прикрыв рот, как бы затыкая его бородою, он подождал, когда озлобленные люди выкричались.

— Я это не в обиду сказал, а потому что рабочие-то, которые поумнее, идут за ними, за большевиками...

На него снова закричали десятком голосов, он снова помолчал, затем, возвысив голос, упрямо продолжал:

— Это все вранье. Германец — тоже солдат, а солдату солдата купить нечем...

Тут кто-то согласился с ним:

— Верно...

— И насчет большевиков — вранье. Это потому врут, что трудно понять, как это люди, против своего интереса, советуют рабочим и крестьянству брать власть в свои руки. Не бывало этого, оттого и непонятно, не верится, на ихнее горе...

— И — врешь. Горе не ихнее, а — наше! — крикнул какой-то собственник горя.

— Они говорят правильно, действительно так выходит, что мы сами себе враги, — говорил солдат, похлопывая ладонью по прикладу винтовки. — Вот эту вещь, оружие, может быть, зять мой сделал, он в Туле, на ружейном заводе. А дядя мой, может, железо для нее добыл. Вот какое дело. Теперь глядите: может, нам из этих винтовок

приказано будет по народу стрелять, как в пятом году. А для чего?

Он выпрямился, передвинул котелок на затылок, вытер ладонью потный лоб.

— Для защиты глупости нашей, нищеты, вот для чего. Из какого интереса три года с германцами воюем? Понимаете вы это?

Люди, — одни ругаясь, другие молча, — отходили прочь, но он, как бы не замечая этого, глядя прямо перед собой, говорил все более густо и крепко:

— И выходит, что большевики-то правильно советуют: пакость эту надо искоренить, — безвинное пролитие крови и разор жизни. Никто, кроме их, этого не советует, хоть все начали говорить с нами ласково. А искоренить можем одни мы, рабочий народ. Шабаш, и — больше ничего. Надо понять, что мы господам не прислуга, а кормильцы, и довольно натравливать нас на свою же кровь-плоть.

Тут солдат этот начал говорить понизив голос до рычания, надвигаясь грудью на людей, размахивая рукою. Вокруг него стало просторнее, и я спросил: откуда он?

— А тебе на что знать? — грубо ответил он и, тяжело топнув ногою, сказал: — Я — вот с этой самой земли, — ну? Солдат, как видишь. Был на японской войне, вот и теперь тоже воевал, а — больше не желаю. Разбудили, проснулся. И я тебе, господин в шляпе, прямо скажу: землю мы обязательно в свои руки возьмем, — обязательно! И все на ней перестроим...

— Круглая будет, как арбуз, — насмешливо вставил другой господин, в кепке.

— Будет! — утвердил солдат.

— Горы-то сроете?

— А — что? Помешают, и горы сроем.

— Реки-то вспять потекут?

— И потекут, куда укажем. Что смеешься, барин:

Насмехался плотненький, круглолицый человек с черными усами.

Солдат схватил его за плечо, встряхнул и сказал в лицо ему:

— Дай срок, образумится народ, он тебе, дураку, такое покажет, что в пояс поклонисься.

И, оттолкнув господина в кепке, солдат твердым шагом вышел из поредевшей толпы.

Дома я записал эту сцену так, как воспроизвожу ее теперь здесь. Я берег ее, надеясь использовать в конце книги, давно задуманной мною. Мне для конца книги очень дорог и важен этот солдат, в котором проснулся человек — ~~творец новой жизни, новой истории~~. В моей ~~наших~~ ~~прошлом~~у он должен был петь басом. Если он жив, не погиб на фронтах гражданской войны, он, вероятно, занят каким-нибудь простеньким делом наших великих дней.

Вспомнил я о нем на Днепрострое, и три дня, прожитые мною там, образ его неотступно сопутствовал мне, как бы спрашивая:

«Ну — что? Верно я говорил?»

Да, он говорил верно. На Днепрострое воля и разум трудового народа изменяют фигуру и лицо земли. Десятки и сотни рабочих, просверливая камень берегов Днепра электрическими сверлами, взрывают древнюю породу жидким воздухом, другие десятки переносят, перевозят с места на место сотни тысяч кубометров земли, землю выкусывают железные челюсти экскаваторов, она кажется легким прахом под руками коллективного человека, который строит для себя новую жизнь. Когда видишь, как смело и просто обращается с нею обыкновенный рабочий, маленький человек, как покорно подчиняется она его разумной силе, — детски наивной кажется древняя сказка о Святогоре-богатыре, который не мог одолеть «тяги земной». Эта сказка весьма устрасала безнадежной своей мистикой любителей пофилософствовать о таинственных силах природы и слабости человека перед ними. Устрашались, чтоб успокоиться.

Стиснутый с обоих берегов железными плотинами, бусует Днепр, но сердитый плеск его волн о железо и камень не слышен в скрежете сверл, в ударах молотов по гулкому железу, в криках рабочих, в этом мощном звуковом «сырье». Мне кажется, что люди скоро уже разложат это разнотонное сырье на ноты, гармонизируют его, создадут героические симфонии.

Стальные жала сверл впиваются в камень, наполняя воздух странно сухим шумом, издали этот шум звучит,

точно одновременное пение множества басовых струн виолончели. Гулко и строго ритмически падают удары американского крана, забывая «шпунт». Невольно вспоминаешь слова Александра Блока: «Культура есть музыкальный ритм». «Дух музыки соединился отныне с новым движением, идущим на смену старого».

Здесь, любуясь дерзкой работой людей, все время вспоминаешь прошлое, и это очень помогает правильной оценке настоящего.

Среди скал, разодранных взрывами, коренастый парень, густо напудренный пылью, сверлит камень, действуя силою, от которой руки и плечи его непрерывно дрожат крупной дрожью. Когда я взялся за ручки сверла, меня встряхнуло, как маленького ребенка, встряхнуло не только потому, что я коснулся молниеносной силы, но и потому, что силою этой владеет девятнадцатилетний крестьянин Смоленской губернии — человек, пред которым, вероятно, столетия интереснейшей жизни и работы. Я, конечно, завидую ему, но и рад за него. Эта радость естественна: измеряя время не только годами моей личной жизни, я не могу забыть, что жизнь моя началась при огне лучины и сальной свечи. А также я хорошо помню, что в 96 году, когда по улицам Нижнего-Новгорода пошел первый вагон трамвая, такие парни, как этот, — тоже смоленские землекопы, — стремглав разбежались прочь от «чортовой кареты».

Дать общую картину всей работы на Днепрострое я не в силах. Я прожил там трое суток — слишком мало для того, чтоб достаточно ярко нарисовать картину грандиозного труда. Там очень много такого, что я видел впервые за мою жизнь, и уже слишком много стерто, уничтожено того, что я видел ~~сорок лет~~ тому назад. Тогда я ночевал тут на берегу Днепра против острова Хортицы, на теплых камнях. Вечером долго беседовал с меннонитом, на которого мне указали как на человека великой мудрости.

— Много вас таких шляется по земле, — сказал мне этот мудрец, и это было самое верное из всего, что говорил он, маленький, сухонький, заласканный людьми до усталости и даже как будто до презрения к ним.

Думаю, что в то время еще не был изобретен умный и послушный американский кран, которым теперь забивают железные «шпунты» в каменное дно бешеного Днепра.

Тогда в порту Феодосии били сваи «вручную», с копра. Тогда не существовал экскаватор, железные пригоршни которого черпают землю и мелкий камень легко, точно воду. Машина эта роет шлюз; ею удивительно ловко управляет черный, масляный человек, вот этот — действительно мудр. Из глубокого котлована огромные насосы выкачивают воду, круглые пасти труб переливают ее в Днепр. Когда смотришь на толстые струи воды, кажется, что не из реки, а из земли вытягивают ее жилы. Сотни людей сдирают с земли толстую каменную кожу, и видишь эту бесплодную землю поистине в руках людей.

День на Днепрострое начинается взрывами, они же и заканчивают день. У меня недурная зрительная память, и мне странно видеть, как значительно, за несколько часов работы, изменились контуры берегов. И странно знать, что камень взрывают жидким воздухом, это не только странно, а и очень весело.

В 87 году меня в Казани судил — по «14 правилу святого Тимофея, епископа александрийского», — церковный — «духовный» — суд, какой-то иеромонах, священник и соборный протоиерей Маслов.

Присудили меня к «эпитимье», не помню, в какой форме, кажется, на сорок ночей молитвы в Феодоровском монастыре. Я отказался подчиниться постановлению суда. Тогда иеромонах, старичок с зелеными глазами, упорно и грозно начал доказывать мне, что я — вор, пытался украсть жизнь, принадлежащую царю, хозяину моему земному, а душу, принадлежащую богу, отцу моему небесному, хотел предать врагу его — сатане. Я сказал, что считаю себя единственным законным хозяином жизни и души моей. Иеромонах крикнул:

— Молчи, безумец! Что — дерзкие слова твои? Воздух! Закон же церкви — камень.

Видя, как воздух, сжатый до состояния жидкости, холодный, но жгучий, точно расплавленный металл, легко взрывает могучую, древнюю породу, я не мог не вспомнить слова иеромонаха.

На моих глазах была взорвана огромная скала — Богатырь, если не ошибаюсь. Мы стояли в двух сотнях шагов от нее, когда она несколько раз глухо охнула, вздрогнула, окуталась белыми облаками; странно быстро растаяли

эти облака, а скала показалась мне шире, ниже, но общая форма не очень заметно изменилась, только трещины стали обильнее, глубже. Я был удивлен, не заметив ни одного, даже маленького, камешка, взброшенного на воздух.

— Это и не требуется, — объяснил мне один из строителей, инженер. — Зачем терять энергию бесплодно? Мы нагружаем заряд до максимума его силы, и вся она тратится на внутреннее разрушение породы, а на бризантное разметывающее действие взрыва не остается ничего.

Мне очень понравился такой экономный метод разрушения. Было бы чудесно, если б можно было перенести его из области техники в область социологии. А то вот мещанство, взорванное экономически, широко разбросано «бризантным» действием взрыва и снова весьма заметно вращает в нашу действительность.

Ночью, над рекой и далеко по берегам вспыхивают голубые огни электрических фонарей. Днепр заплескивает их шелковые отражения, но они светятся на темных волнах, точно куски неба в тучах, гонимых ветром. Я стою на балконе во втором этаже, любуюсь игрою огня на воде и странными тенями в каменных рывтинах изуродованного берега. Тени разбросаны удивительно затейливо, похожи на клинопись и вызывают желание прочитать их.

— Весною над крышей этого дома будет одиннадцать метров воды, — спокойно рассказывает инженер.

Молчу, соображая: дом стоит метров на десять выше уровня реки.

— Образуется озеро до тех двух фонарей, — видите?

Вижу. Фонари очень далеко, среди сероватых, бесплодных холмов.

— А вверх по течению — за мост.

Мост висит над рекою на высоте не меньше двадцати метров, но мне говорят, что он тоже окажется глубоко под водою. Очень трудно вообразить озеро такого объема и такой глубины, поднятое на эти холмы.

Вспоминаются слова одного из библейских пророков, который должно быть, предвидел развитие трудовой техники в XX веке: «На горах станут воды».

— В древности такие грандиозные фокусы, говорят, делал бог, — замечаю я. — Неважный был строитель, нам приходится переделывать все по-своему, по-новому.

Затем инженер рассказывает, что этот кружевной и точно взвешенный в воздухе мост был взорван бандитом Махно.

— Взорвали неумело, посредине, а надо было рвать в пятке, с берега, тогда бы весь мост рухнул в Днепр.

Дикий «батько», наверное, был бы крайне оскорблен убийственным пренебрежением, с которым говорят о его неуменье разрушать мосты.

— Мы хотели отправить этот мост на Турксиб, но отказались от этой мысли: разобрать и перевезти его туда стоило бы дороже, чем построить новый там, на месте.

Теплый бархат ночи богато расшит, украшен голубым серебром огней, в сумраке стремительно катятся волны Днепра, река точно хочет излиться в море раньше, чем люди возьмут ее в плен и заставят работать на себя. Все вокруг сказочно. Сказочен голубой огонь, рожденный силою падения воды. И сказочен этот крепкий человек рядом со мною, человек, который изменяет лицо земли, такой внешне спокойный, но крепко уверенный в непобедимой силе знания и труда.

Он уходит отдохнуть, я тоже спускаюсь вниз с песчаного холма, на котором стоит дом, иду по размятой дороге к реке. Около штабеля бревен, пригнанных плотами с верховьев Днепра, кучка людей, человек пять. Сквозь сумрак тихим ручейком течет мутная речь:

— Днепр — это, как говорится, стихия, свободная сила, значит, железными перегородками ее, на пути к морю, не удержат, нет. Вот поглядим, что скажет весна, половодье...

Я знаю, что это говорит бездействующий, сытенький старичок, очень аккуратно одетый и похожий на дьячка. Утром он подходил ко мне и с почтительностью излишней, фальшиво улыбаясь, спрашивал, не помню ли я казанского крендельщика Кувшинова. Затем, в течение дня я несколько раз видел в разных местах его фигуру, похожую на тень. Он из тех старичков, которым все, чего они не понимают, кажется глупым и вредным. Медленно шагая, слышу его поучающий голосок:

— Всякой реке положено протекать в пространство, и жизнь человеческая тоже в пространство будущего влетает тихонько, да-а...

Сильно постарел, но все еще жив тот сказочный, но не очень остроумный парень, который на свадьбе пел за упокой.

Странно, что и в наше время поистине великих задач есть молодые люди, поющие в голос таким старичкам.

При первом, общем взгляде на работу Днепростроя, видишь, что все усилия людей направлены на укрощение строптивой реки. Но уже скоро забывается о том, что Днепр не укрощен, и кажется, что с ним — покончено. Уже выстроен целый городок каменных домов, действует фабрика-кухня, школа, театр, расклеены афиши о гастролях артиста Александринского театра Юрьева. По широким улицам новенького, веселого города бегают здоровые ребята, мелькают красные повязки комсомолок, галстуки пионеров.

В просторной, светлой столовой фабрики-кухни, в углу, за столом, накрытым чистой белой скатертью, украшенным какими-то растениями в цветочных горшках, сидит человек, обедает и, одновременно, читает газету. Он весь, с головы до ног, покрыт пылью, рыжеватые волосы его тоже обильно напудрены. Расстегнутый ворот рубахи обнажает очень белую шею и такую же грудь. Ест он поспешно, и хотя смотрит не в тарелку, а в сторону, в газету, однако весьма метко попадает вилкой в куски мяса. Читая, он улыбается, кивает головой, но вдруг, нахмурясь, наклонился ближе к листу газеты. Две рослые уборщицы в белых платках перешептываются, любуясь им, — человек красивый.

Вот он сердито и машинально ткнул вилкой в тарелку, — кусок мяса соскочил на скатерть, парень вонзил в него вилку, а на скатерти осталось пятно. Тогда парень покраснел, оглянулся и, видя, что уборщицы улыбаются, покраснел еще более густо, уже до плеч и, тоже улыбаясь, виновато развел руками.

— Съеловал, — сказал он уборщицам.

Это, конечно, мелочь. Но мне она понравилась. Мне кажется, что за нею скрыто новое и правильное отношение к общественному добру.

Я слишком часто говорю о себе? Да, это — верно. Но как же иначе?

Я — свидетель тяжбы старого с новым. Я даю показания на суде истории перед лицом трудовой молодежи, которая мало знает о проклятом прошлом и поэтому нередко слишком плохо ценит настоящее, да и недостаточно знакома с ним.

Мне, разумеется, известно, что Днепрострой посещают многочисленные экскурсии молодежи, но я видел людей, которые живут в десятках верст от этой грандиозной стройки, а не только не посетили ее, даже не имеют представления о том, для чего затеяна эта работа и какое значение будет она иметь для Украины.

Поэзия трудовых процессов все еще недостаточно глубоко чувствуется молодежью, а пора бы уже чувствовать ее. В Союзе Социалистических Советов трудятся уже не рабы, покорно исполняющие приказания хозяев, в Союзе работают на себя свободные люди. Если раньше смысл труда был неясен рабочему, если раньше меньшинство богатели, а трудовой народ оставался нищим, то ведь теперь это отношение в корне изменилось, и все, что делается рабочим, делается им для себя, на завтрашний день.

Но и раньше, при условиях подневольного и нередко бессмысленного труда, рабочий все-таки мог и умел работать с тем пламенным наслаждением, которое называется «пафосом творчества» и может быть выражено во всем, что делает человек: делает ли он посуду, мебель, одежду, машины, картины, книги. Именно в труде, и только в труде, велик человек, и чем горячее его любовь к труду, тем более величественен сам он, тем продуктивнее, красивее его работа.

Есть поэзия «слияния с природой», погружения в ее краски и линии, это — поэзия пассивного подчинения данному зрением и умозрением. Она приятна, умиротворяет, и только в этом ее сомнительная ценность. Она — для покорных зрителей жизни, которые живут в стороне от нее, где-то на берегах потока истории.

Но есть поэзия преодоления сил природы силою воли человека, поэзия обогащения жизни разумом и воображением, она величественна и трагична, она возбуждает волю к деянию, это — поэзия борцов против мертвой, окаменевшей действительности для создателей новых форм социальной жизни, новых идей.

Пробежав от Петрозаводска на Кемь два-три перегона, наш поезд остановился, и тотчас под окнами вагона замелькали фигурки разнообразно одетых ребят. Командовала ими девушка невысокого роста, бойкая, с веселым лицом и умненькими глазами.

— Ну, где же он? Почему не покажется нам? — требовательно покрикивала она, легко, точно мячик, подпрыгивая, стараясь заглянуть в окна. Речь шла обо мне, а девушка оказалась «вожатой» делегации пионеров Северного края. Они ехали «на слет» в Мурманск. Вечером вся делегация, двенадцать милейших душ, пришла в наш вагон и часа три показывала нам «живую газету», шумовой оркестр, пела песни, декламировала. Все это делалось очень искусно, с горячим увлечением, делалось как «свое», не возбуждая никаких мыслей о «выучке». Особенно выделялась своей явной талантливостью тринадцатилетняя девочка, бывшая «беспризорная». Обладая отличным слухом и уже неплохой техникой, она играла в «шумовом» на гитаре. Было ясно, что этой девочке есть чем ответить товарищам за их любовное отношение к ней. На барабанах играл тоненький, курчавый мальчик, кажется — еврей, на треугольнике, должно быть, карел. Были карелки и среди пионеров. Мне интересно отметить различие национальностей только потому, что детей, видимо, уже не интересует это, для них уже не существует финнов, евреев, татар.

Вот случай, когда многие из старых петухов и куриц могли бы поучиться у цыплят!

Многие из песенок детей сделаны очень остроумно, в тоне самокритики, в них метко осмеиваются лень, небрежное отношение к своим пионерским делам и задачам, и по этим песням хорошо видишь, насколько глубоко развит в детях социальный инстинкт, как близка их чувству и разуму быстро текущая действительность, как широко они знают ее. Есть и другие песни, это уже рифмованные подзатыльники взрослым, и, вероятно, многие из взрослых слушают эти песенки, не испытывая никакого удовольствия.

Когда дети устали знакомить нас со своим неистощимым репертуаром, началась хорошая беседа. Мои товарищи спрашивали ребят о их жизни и работе, а я слушал и думал о том, как широк интерес детей к политической и культурной жизни страны. Материалы для таких дум дала мне, конечно, не эта случайная встреча с пионерами.

У меня накопилось множество писем школьников, пионеров, бывших «беспризорных» и «одиночек», — детей города и деревни со всех концов Союза Советов. Все это — документы высокого интереса и серьезнейшей социальной значимости, хотя большинство авторов писем — люди в возрасте от семи до шестнадцати лет. Не думаю, чтобы до Октябрьской революции возможен был у Детей такой живой и, главное, требовательный интерес к литератору. Разумеется, я не считаю себя единственным среди современных писателей, который возбуждает такое напряженное и, повторяю, требовательное внимание детей. Наверное, есть и другие литераторы, которым дети посылают десятки писем. Эти письма — неопровержимое доказательство того, насколько глубоко проникает в сознание детей процесс роста новой культуры. Эти письма имеют серьезнейшее воспитательное значение и для отцов, а потому я бы предложил товарищам литераторам обрабатывать документы эти в очерки и публиковать их.

Широта интереса детей к политической и культурной жизни явно растет из года в год, их вопросы становятся все разнообразнее, и уже физически невозможно отвечать на каждое письмо детей-корреспондентов. Да и не обладаю я умением говорить с детьми достаточно просто, с тою мудростью, с которой они ставят свои разнообразные и сложные вопросы.

Меня смущает: в какой мере дети должны знать прошлое, знать всю ту безобразную и жуткую бесчеловечную и пошлейшую действительность, под гнетом которой жили прадеды, деды и против которой восстали отцы, для того чтоб создать для детей новую действительность? В прошлом есть много такого, что я, даже теперь, заканчивая свою жизнь, хотел бы забыть. Мне очень мешает говорить с детьми уверенность, что миру необходимы люди иного опыта, других знаний, чем мои хаотические знания, мой

тяжелый опыт. Современные дети кажутся мне людьми другой мудрости, чем мудрость их отцов. Я думаю, масса детских писем и наблюдения над детьми уже дают мне право сказать: в детях заметно и быстро растет чувство коллективизма, основанное на сознании успешности коллективного труда. Дети растут коллективистами — вот одно из великих завоеваний нашей действительности, я считаю его неоспоримым и все более глубоко вступающим в жизнь. Противники социализма, вероятно, скажут: рост индивидуальности затруднен, индивидуальность стирается влияниями, давлениями коллектива. Это старинное истрепанное возражение, разумеется, не теряет своего значения для людей духовно слепых, но зрячему совершенно ясно, что коллектив создает человека совершенно иной индивидуальной психики, более активной, стойкой и черпающей волю к действию, волю к строению жизни из воли коллектива.

Сидя рядом с одним из моих товарищей, вожатая, наморщив лоб, говорит ему:

— Вы, кажется, водку пили? Смотрите, вычистят из партии.

Скромный, задумчивый крутолобый человек негромко добавляет, сверкнув голубыми глазами:

— Всех пьющих я бы вычистил.

О другом, вероятно, таком же человечке мне рассказали в Мурманске. Отец у него сильно пил. Маленькому человечку не понравилось это, он устроил у себя дома «уголок антиалкоголика». Достал где-то плакаты и картинки, изображающие вред алкоголизма, оклеил ими стену, достал брошюру и начал поучать отца. Отец избил его, изорвал брошюру, картинки. Но маленький борец оказался человеком сильной воли — он снова устроил «уголок». А отец — снова избил его и все разрушил. Это повторялось одиннадцать раз. На двенадцатый в отце проснулся человек, и тогда он сказал сыну-победителю:

— Ну, хватит! Не буду пить.

И — говорят — не пьет. Я — верю, что действительно не пьет. Неловко не верить в хорошее, если даже газета парижских белогвардейцев «Последние новости» сообщает такие факты, черпая их со страниц «Известий»:

ДЕТИ УЧАТ ОТЦОВ

В Саратове к мельнице № 25 явилась на-днях в полдень большая детская демонстрация. Детей было до 400 человек. На дверях мельницы демонстранты прибили плакат: «В 12 час. дня налетом красного отряда по борьбе с пьянством взята в плен мельница № 25». Между высыпавшими к воротам рабочими и демонстрантами начались мирные переговоры. Начальник штаба детей-демонстрантов кратко заявил: «Мы против пьянствующих папаш. Требуем дать возможность готовить уроки. Вместо водки покупать больше книг. Добиться закрытия пивных».

Над этой заметкой помещена другая:

ПОБЕДА ЗУБНОЙ ЩЕТКИ

В городе Нижнедевицке ученики школы I ступени после беседы зубного врача в школе выносят постановление:

«Добиться, чтобы каждому из нас родители купили зубную щетку и чтобы они сами чистили зубы». После двухнедельной атаки зубные щетки энергией школьников были внедрены в крестьянские избы. Но как обращаться с ними?

Для этой цели устраивается «генеральная репетиция» чистки зубов в школе. В классы доставляются теплая вода, зубной порошок, и ученики под наблюдением педагогов обучаются чистить зубы, а по возвращении из школы школьники предельвают эту репетицию с родными.

Сообщать своим читателям такие факты советской действительности — это не в привычках редакции «Последних новостей». С настойчивостью почти идиотической она «освещает» на страницах газеты своей явления отрицательного характера, черпая их из материалов нашей самокритики. Но вот мы видим, что даже враги трудового народа иногда — разумеется, очень редко — все-таки отмечают положительные явления советской жизни. Отмечают, вероятно, «скрепя сердце» и, может быть, потому, что им надоело слишком часто печатать заметки такого рода, как следующая:

МАЛОЛЕТНИЕ УБИЙЦЫ

В ночь на среду, на прошлой неделе, в Воскресене зверски была зарезана старуха Барри. В течение пяти дней полиция разыскивала убийц и арестовала их только 7 апреля вечером. Одному из них пятнадцать лет, другому четырнадцать. Убил старуху старший, Луи Элье, служивший мальчиком для посылок в дансинге в Дьеппе, младший — Эмиль Легуэн был «наводчиком». Вчера убийцы были доставлены в Воскресон, где в доме Барри судебными

властями была восстановлена картина преступления. Полиция с трудом оберегала малолетних преступников от разъяренной собравшейся вокруг дома толпы. Заплаканный Легуэн подробно рассказал, как вместе с товарищем он зарезал старуху. Убийство было задумано задолго, и план был выработан во всех подробностях. В 9 час. вечера, во вторник, мальчики проникли в сад. Так как оба они очень малы ростом, то им пришлось приставить к стене железный садовый столик, чтобы подобраться к окну. Проникнув в дом, мальчики приступили к грабежу. Свет свечи разбудил старуху. Эле схватил железный лом и проломил старухе череп. Не зная, умерла ли она, мальчик продолжал избивать старуху ломом, пока голова ее не превратилась в бесформенную окровавленную массу. Денег убийцы не нашли. Вся их добыча была — 12 франков, найденные в ящике стола.

Это вовсе не «исключительный случай», — в «культурной» Европе и С.-А. Штатах преступность среди детей и юношества всех классов очень заметно растет. У нас детская преступность должна падать и падает. Это — естественно, этим нельзя гордиться. Но гордиться деятельным участием ребят в культурной работе родителей — мы имеем право. К сожалению, далеко не все папаши и мамы видят, понимают и ценят сотрудничество своих детей, а некоторые отцы даже поколачивают ребят за то, что они становятся умнее и решительно, активно берут на себя посильную работу по строению новой жизни. В крови отцов все еще живет и бушует зараза прошлых веков — звериное пристрастие к своей норе, к своему логовищу, к «семье, основе собственности и государства» — того классового государства, которое, удерживая трудящихся в рабстве, драло по семи шкур с каждого и быстро вело рабочих и крестьян к физическому вырождению.

«Перед миллионами детей в Союзе Советов открыта широкая дорога в мир действительно новый», — сказано кем-то из тех редких иностранцев, которые не ослеплены враждою к Стране Советов. Он мог бы прибавить, что дети рабочих и крестьян Советских Социалистических Республик сознательно и смело идут по этой дороге впереди отцов, и это не было бы преувеличением.

Это — одно из наиболее значительных явлений нашей действительности, одно из тех «достижений», которые все еще недостаточно поняты и недостаточно ценятся нами. Пять лет тому назад невозможно было такое активное и

широкое участие детей в перевыборах советов, каким оно развернулось в текущем году. В этом же году состоялся чрезвычайно интересный съезд «деткоров». Прибавьте сюда работу крестьянских детей по борьбе за новые приемы скотоводства, по борьбе против засорения полей и вообще «мелкую», но крайне важную работу детей-школьников по практической пропаганде новых приемов сельскохозяйственной культуры. Сюда же нужно отнести демонстративные выступления детей против алкоголизма отцов.

Эти выступления напоминают мне умные слова даровитого писателя Стефана Цвейга:

«Природа, верная своей задаче сохранять творческую силу, почти всегда внушает ребенку ненависть к склонностям отца».

Сказано резко и как будто не в тон учению о наследственности, а все-таки звучит в этих словах некая грозная правда.

В Мурманск на слет пионеров Северного края я опоздал, но был у них гостем на концерте, сидел среди них и с великим наслаждением наблюдал и слушал маленьких людей нового мира. Видел товарища Палкина, очень хорошего декламатора, хотя он немножко шепелявит. Товарищу Палкину одиннадцать лет, но, видимо, он уже признанный артист. Когда он вышел к рампе, встал перед занавесом — сотен пять пионеров и все взрослые встретили его единодушными рукоплесканиями. Крепкий, большоголовый, с горячими глазами, он прочитал незнакомое мне героическое стихотворение Гюго и еще «Стену коммунаров». Читал он действительно артистически, и было ясно, что это мальчик талантливый. Но — не в этом дело, а в том, что я совершенно не могу понять: как это случилось, что ребенок одиннадцати лет чувствует с такою глубиной и силою пафос революционного дела? Это — одно из маленьких чудес нашей эпохи, и это — человек, действительно, окрыленный духом революции. О нем уже не позабудешь, и он, конечно, не пропадет. Он — сын рабочего, слесаря. Выступала тоненькая, удивительно легкая девочка, тоже лет двенадцати, не более. Она встала как-то боком к публике и, задорно поблескивая глазами вкось, тоже неплохо

прочитала стихи. Выступали очень многие и та группа делегатов, с которой я познакомился в дороге. Бывшая беспризорница Сима оказалась ловкой плясуньей и хорошим режиссером, ею была поставлена маленькая сценка, в которой принимали участие люди всех племен, от каждого по паре. Это было очень забавно, но я, к сожалению, не понял, что это: Ноев ковчег или Интернационал?

В зале, битком набитом, было весело, шумно, и все-таки была «дисциплина»: каждый раз, когда на эстраду выходил кто-нибудь, — водворялась внимательная, чуткая тишина. В заключение мои знакомцы вышли на сцену с гитарами, балалайками, барабаном, треугольником и разыграли весьма ядовитый музыкальный фельетон.

Люба, их вожатая, спрашивает:

— Что нам пожелать такой-то организации Петрозаводска?

Музыканты играли: одной организации — «Понапрасну, Ваня, ходишь», другой — «Сухой бы я корочкой питалась», третьей — «Спи, младенец мой прекрасный», и так далее. Пионеры и публика, очевидно, знали, в чем тут дело, и весь зал единодушно смеялся, когда на вопросы Любы музыканты отвечали мотивами, должно быть, метко выбранных песен. Смеялись даже и тогда, когда было проиграно несколько тактов похоронного марша. В заключение Люба спросила:

— Что мы скажем на прощанье товарищам и гражданам?

И маленький оркестр заиграл под аплодисменты «Последний нонешний денечек». Все это было удивительно хорошо, все еще более укрепляло веру мою в прекрасное будущее трудового народа. Память, «оживляя даже камни прошлого», воскрешала предо мною другие времена, другие игры и забавы. Далеко в прошлое ушло все это, далеко ушло и — не воротится!

Я представляю себе пионеров — детей крестьян, — большую разнообразную работу ведут они в деревнях, и нелегко им живется. В марте, на московском съезде детководов, руководитель съезда спросила ребят: приходится ли им спорить с родителями? Почти единодушно ребята ответили:

— Приходится, приходится!

Я тоже знаю, что — приходится. Есть ребята, которым, должно быть, чувство собственного достоинства или нежелание опорочить родителей перед товарищами не позволяет «выносить сор из избы». И некоторые из них пишут о своих огорчениях человеку, живущему за «тридевять земель» от них; может быть, потому и пишут далекому, что он — далеко и не расскажет. «Если отец еще раз порвет книги у меня — уйду в беспризорики», — сообщает один из таких.

На съезде деткоров ребята указывали, как трудно работать им: сельсоветы не помогают или помогают скудно. «Шефствовать над отрядами никто не хочет». «Литературы нет» или — «мало». «Просили ячейку, чтоб она помогла нам запахать школьный участок — не помогла, пришлось сдать в аренду». «Со стороны комсомольцев помощи нет». «Хороших вожатых — мало». «Нет помещения для собраний». «Негде ставить спектакли». «Дали вожатым комсомолку, неактивную», — таких и подобных заявлений было высказано много.

Что делают они теперь в этих условиях? «Следим за тем, чтобы самогонку не варили». «Заполнили 600 карточек для перевыборов, написали плакаты, ходили по домам, разнося пригласительные карточки, когда взрослые ушли на перевыборы — оставались нянчить ребят». «Перед посевной кампанией выписали на школьные деньги сельхозную литературу и распространили ее». «Читали литературу неграмотным мужикам». «Учили мужиков чистить зерно, протравливать его». «Посадили у себя при школе турнепс, капусту и другие овощи, собрали, получили 300 р. дохода». «Посадили на школьном участке турнепс, вырос большой, до полпуда, на выставке нам дали за него 32 р. премии, на эти деньги купили книг для ребят». «В некоторых деревнях детские артели птицеводов добились объединения взрослых в птицеводческие союзы». «Организовали союзы лесных лазутчиков». Нет ни одного уголка в деревне, куда не заглядывал бы зоркий глаз пионера, где его рука брезговала бы работать.

Деткоры на съезде говорили о необходимости борьбы с клопами и тараканами, о чистоте в избах, о том, что мужиков надобно учить обращаться умело с сельхозными машинами, о том, что в «Пионерской правде» и «Дружных

ребятах» необходимо давать врачебные советы, страничку по музыкальной культуре, статьи о кролико- и пчеловодстве, печатать уроки по иностранным языкам и так далее, и так далее, а наконец заявлено требование: «Давать статьи о старых писателях, потому что мы у них все учимся. Нам надо сравнить старых писателей с нашими». Было предложено «давать статьи о всех важных и ученых людях, которые сделали какое-нибудь добро для жизни».

Один из деткоров рассказал:

— У нас один парень был пионером, его перевели в комсомольцы, а потом лишили права голоса, исключили. Он стал писать пропаганду в отряд, что вот такой-то пионер плохой. Организовал кулацкий кружок, который писал о пионерах плохо. Повел среди пионеров пропаганду. Пионеры сами стали говорить, что у нас, мол, ребята никуда не годятся. Он давал пионерам такие предложения: нам пионеротряд не нужен, зачем он нам, раньше жили без пионеротряда и было хорошо. Комсомольская ячейка обратила на нас внимание. Выбрали вожатым Путрину. Она была активной, хорошей, подняла работу отряда. Комсомольская ячейка во всем стала оказывать помощь, дала денег. Мы купили себе костюмы, библиотеку пионерскую. Затем Путрину исключили из комсомола и из вожатых. За ней мы ничего не замечали. Пионеры протестовали против ее исключения. Отряд стал распадаться.

Вслед за этим на съезде возник вопрос о лишенцах, и вот как решают деткоры этот вопрос:

— Лишенцы у нас работают так же, как и другие ученики, потому что эти лишенцы не виноваты. Разве они виноваты, что у них когда-то отец служил в полиции, в старый режим? Некоторые есть сыновья и дочери попов. Разве они виноваты? Вот перед нами стоит какой вопрос. Ты стремись своего родителя как-нибудь заинтересовать, чтобы он вышел из кабалы поповской, чтобы был тоже с нами, и через некоторое время вы тоже будете не лишенцы. И вот уже два попа выписались совсем. Одному дали жалованье, которое дает ему пропитание, а другой говорит: я сапоги шить умею и этим пропитаюсь. Вот видите, как у нас идет пропаганда среди учащихся. Не так, как говорят, что там против советской власти агитацию

ведут и против населения и подрывают работу пионеротряда. У нас теперь организован кружок безбожников, и мы стремимся заинтересовать в этом кружке всех, чтобы поняли действительную теперешнюю жизнь. И ребята-лишэнцы со всеми нами вместе работают, потому что они совсем не виноваты, что отец был у них урядником.

Другой деткор отозвался на эту речь так:

— Я слышу, что здесь говорят — лишэнцев-ребят не допускать к работе. Ведь это, ребята, создается какое-то противодействие — *делают отряды противников*. Ведь сразу видно, что если пионер не хочет работать или что он против отряда. Его тогда исключить надо, отделить. У нас лишэнцы все пионерами находятся. Нам неинтересно лишэнца исключить, а интересно его воспитать, чтобы он не пошел по отцовскому пути, а пошел по нашему, как говорит политика, и чтобы не был там каким-то кулаком или противником советской власти, а чтобы был активным пионером и работником.

А третий сказал:

— Ребята лезут в правый уклон (смех). Конечно, правый уклон, когда говорят, что дети лишэнных не виноваты. Их надо переубеждать, чтобы они не были такими, как отцы, но все-таки им дела, которые исполняет пионерская организация, давать ни в коем разе не следует. Если мы будем допускать их до всей работы — это будет считаться правым уклоном. У нас один комсомолец высказался против того, что ученики тех родителей, которые лишены права голоса, не виноваты, так партийцы постановили, что это правый уклонист. Яблоко, ребята, от яблони недалеко падает. Если батька лишэн избирательных прав, у него уже не такое настроение, как у бедняка, у него уже много другое настроение. А ученик, который у нас учится, с батьки берет пример. Есть и такие, которые, если батька говорит, не обращают на него внимания.

Из всего этого совершенно ясно, что пионеры деревни ведут разнообразнейшую культурную работу, что они являются новой и значительной силой, организующей новый быт.

«Больше внимания детям, подросткам, юношеству!» — Вот еще один лозунг, который необходимо включить в ряд лозунгов пятилетки.

V. СОЛОВКИ

В эти дни по всему Союзу Советов кинематограф показывает остров Соловки. Фильм этот я видел в Ленинграде после того, как побывал в Соловках; съемка сделана в 1926 году и уже устарела — в наше бурно текущее время даже и вчерашний день отталкивается далеко от сего дня.

Серое однообразие кино не в силах дать даже представления о своеобразной красоте острова. Да и словами трудно изобразить гармоническое, но неуловимое сочетание прозрачных, нежных красок севера, так резко различных с густыми, хвастливо яркими тонами юга; да и словами невозможно изобразить суровую меланхолию тусклой, изогнутой ветром сгали холодного моря, а над морем — густо зеленые холмы, тепло одетые лесом, и на фоне холмов — кремль монастыря. С моря, издали, он кажется игрушечным. С моря кажется, что земля острова тоже бурно взволнована и застыла в напряженном стремлении поднять леса выше — к небу, к солнцу. А кремль вблизи встает как постройка сказочных богатырей, — стены и башни его сложены из огромнейших разноцветных валунов в десятки тонн весом.

Особенно хорошо видишь весь остров с горы Секирной, — огромный пласт густой зелени, и в нее вставлены синеватые зеркала маленьких озер; таких зеркал несколько сот, в их спокойно застывшей, прозрачной воде отражены деревья вершинами вниз, а вокруг распростерлось и дышит серое море. В безрадостной его пустыне земля отвоевала себе место и непрерывно творит свое великое дело — производит «живое». Чайки летают над морем, садятся на крыши башен кремля, скрипуче покрикивают.

В книге «Историческое описание Соловецкого монастыря» настоятель его и автор книги Мелетий сладостно рассказывает о том, почему гора названа Секирной. Первыми насельниками острова были «блаженный инок Герман» и «боголюбивый инок Савватий». «Сия богоизбранная двоица ознаменовала» — в 1429 году — «первое основание монастыря близ горы и воздвигла там пустынные свои кущи». «Жена одного Корелянина» — то есть

карела, — «поселившегося со всем домом своим недалеко от кельи иноков, по зависти покусившегося завладеть угольями островов Соловецких, жестоко была наказана от ангелов в образе двух благообразных юношей, — за сие, ее с мужем, намерение противное воле божией со строгим повелением удалиться с Соловецкого острова, что они немедленно и исполнили. Сие чудесное событие распространилось между окрестными жителями и навело страх и ужас на всех, с той поры никто из мирских людей не осмеливался селиться на Соловецком острове».

Для нашего времени, когда политико-экономический смысл всех легенд и чудес вскрывается очень просто, — смысл этой чудесной легенды тоже совершенно ясен. Хотя есть в ней и темное место: непонятно, почему «ангелы во образе благообразных юношей» наказали жену карела, а не его самого? Рассказ архимандрита Мелетия запечатлен в красках на иконе, которая хранится в музее Соловков. Рассматривая икону, убеждаешься, что ангелы XV века крайне плохо знали технику порки: они секли прутьями карелку не по тому месту, которое указано древней традицией, а гораздо выше — по спине. Так как пишущий сие в детстве своем нередко исполнял роль секомого, он обязан сообщить секущим, что, ежели сечь прутьями по спине, — боль ощущается гораздо сильнее, потому что в спине находятся близко к поверхности чрезвычайно чувствительные кости, кости же седалища природы, — предусмотрительно обнаружив в этом случае гуманность, вообще не свойственную ей, — скрыла глубоко в мускулах, и допороться до этих костей нелегко даже для очень усердного и опытного секутора. И, наверное, именно один из специалистов порки, убедясь в чудесной выносливости ягодиц человеческих, создал, в сознании бессилия своего пропороть их до костей, поговорку: «Как хошь пори, хоть — сам ори!»

Желающим ознакомиться с историей политической жизни Соловецкого монастыря указываю вышеупомянутую книгу. Написана она весьма красноречиво и так елейно, как будто автор писал не чернилами, а именно лампадным маслом с примесью патоки. Читая ее, вспоминается изречение: «Красно глаголяй — лжу глаголешь».

В 1875 году имущество монастыря оценивалось в десять миллионов рублей. Даровой труд богомольцев приносил братии чистого дохода до пятидесяти тысяч рублей в год. Покупали монахи только хлеб в Архангельске, все же иное необходимое добывалось трудом верующих. Тысяч на тридцать ежегодно отправляли продуктов на материк. Богомольцев монастырь принимал до двадцати пяти тысяч в лето. Между прочим, трудами их построена между двумя островами каменная дамба длиною около двух верст, — труд немалый! Несмотря на все это, монахи жаловались на умаление доходов: «Оскудевает лепта народная господу богу, уже не о душе своей пекутся люди, а только о чреве, о нищете. А как слепая вера была — нищеты не замечали».

Так, по рассказу Василия Немировича-Данченко в его книге «Соловки», жаловались они в 1875 году и так же двое из них жаловались в 1896 году строителю Архангельской железной дороги Савве Мамонтову на Всероссийской выставке, а он сердито убеждал вложить деньги монастыря в морское судостроение: «А то от вас, как от козлов: ни шерсти, ни молока».

На всем протяжении бытия своего монастырь являлся рассадником совершенно определенных идей. Очень простые и емкие, идеи эти заключают в себе самую сущность консервативного мракобесия и всю политическую мудрость мещанства: «Избави бог от образованных. Мужичок наш — работничек и кормилец, а образованный смуту сеет да неустройству всякому — глава». Именно эти идеи развивали идолопоклонники троицы «православие, самодержавие, народность», развивали от времен Александра I до Константина Победоносцева, и даже в наши дни, — под криками вражды к буржуазной культуре нередко слышится изуверская ненависть к «образованному» со стороны новых махаевцев и анархистов из мещан. Именно эти идеи ежегодно тысячи богомольцев распространяли по всей крестьянской и уездной России.

О культурном уровне соловецких монахов убедительно говорит тот факт, что, несмотря на богатейшие собрания исторических документов, накопленных в течение 500 лет, не нашлось ни одного монаха, который написал бы приличную историю сношений монастыря с Англией, Швецией,

историю его участия в церковном «расколе» и так далее. Наиболее ценные документы, из боязни, что их «мыши съедят», были переданы монастырем казанской духовной академии.

Монахи и теперь живут на острове как «вольнонаемные», плетут сети, ловят знаменитую соловецкую сельдь. Их там больше полусотни, живут они «как привыкли», в сторонке от «мира», тихонько работают, молятся в церкви. Их почти не видно среди очень грешного населения острова, лишь изредка мелькнет, как тень далекого прошлого, темная фигура, — длинное одеяние еще более усиливает ее сходство с тенью. Видишь такую фигуру, и вспоминается множество монастырей, вспоминаешь тысячи угрюмых черных церковников, «стражей грешного мира». Боясь бога, они не жалели людей и очень выгодно для обители меняли свой кусок хлеба на труд бездомных бродяг, на ласки обессиленных, ошеломленных горем жизни деревенских баб, «странниц по обету». Труды и молитвы монашества нисколько не мешали ему дополнять «Декамерон» Бокаччио, и нигде не слышал я таких жирных, так круто посоленных рассказов о «науке любви», как в монастырях. А во всем прочем — удивительно бездарно было наше монашество, тогда как римско-католическое, не говоря о талантливости его миссионеров, о дьявольски ловко и широко поставленной во всем мире пропаганде, дало человечеству ряд крупных писателей, ученых, философов: Томаса Мора, Кампанеллу, Рабле, Менделя, Пристлея, выдвинуло таких организаторов, как Игнатий Лойола, Доминик, Савонарола, Франциск Ассизский. Ничего подобного не создала наша черная армия «захребетников» крестьянства.

На пароходе из Кеми в Соловки я спросил монаха:

— Как живете?

— Не худо, бога благодаря...

— А начальство как относится к вам?

— Начальство тут желает, чтобы все работали. Мы — работаем.

Помолчав, он добавил:

— Без работы и червь не живет.

Я ждал, что он скажет: «и птица». Над пароходом летала чайка. Странно, что человек на море помнит о червях.

Монах был изрядно выпивши, но не очень многословен. В ответах его чувствовалась мужицкая осторожность, устойчивое недоверие к человеку из другого мира. Он — тощий, жилистый, на землистом лице реденькая серая бородка, бесцветные глаза спрятаны в морщинах и смотрят из них на море, на палубу, точно в щель. Наверное, он смолоду смотрел на землю и людей вот так прихмуренно, как смотрят в дырочку, и мир казался ему жутко маленьким, темноватым. С острова — мир безграничен и пуст, в нем можно жить спокойно, ни о чем не думая, ни за что не отвечая.

Я спросил монаха: не поколебалась ли его вера в бога?

Отодвинувшись от меня, он подумал и сказал:

— Почто? Кому дано, да не отъемлется! Так учили нас. Так оно и есть.

— Люди становятся безбожны.

Он снова подумал и проворчал:

— Одно дело — люди, другое — монахи.

Это напомнило мне монаха в Лубнах у Афанасия Сидящего. Тот считался мудрецом и даже «провидцем». Толстый, огромный, с одутловатым, мягким, как подушка, лицом, с большим желтым носом, губы толстые и мокрые, а черные глаза нагло выкачены, и на поверхности зрачков искусственно добрая, но не глупая улыбочка. Говорили, что он страдает какими-то припадками и во время их пророчествует, но послушник в хлебопекарне сказал мне, что болезнь пророка — запой. В такие дни его прятали в чулан за хлебопекарней. Он поучал меня:

— Ты меньше спрашивай. А тебя спросят — не отвечай сразу, сначала подумай. Да не о том думай, что спросили, а о том — для чего? Догадаешься — для чего, тогда и поймешь, как надо ответить.

Монаха, с которым я познакомился на пароходе, пригласили завтракать. Он хорошо покушал колбасы, ветчины, выпил еще немного водки и стал более благодушен. В мутных глазах засияла улыбка удовольствия. Но красноречия не прибавилось у него.

— Все люди — люди! Что боле скажешь? Ничего не скажешь! Та-то, — ворчал он, вздыхая.

На обратном пути из Соловков в Кемь познакомился еще с одним монахом, толще, сытее первого, солиднее его. Глазки у него маленькие, кабаньи, и на женщин он смотрит внимательно тем «центральный взглядом», который сразу обличает в человеке склонность к смертному греху любострастия. Он получает шестьдесят рублей в месяц на всем готовом, потому что он искусный строитель: он соединил несколько озер на острове каналами, по которым свободно ходит катерок, транспортируя лес. Он же руководил реставрацией зданий в кремле монастыря, — здания были разрушены пожаром, кажется, в 1923 году, а причиной пожара был поджог, учиненный агентами белогвардейцев. Он считает себя человеком, который в деле строительства осведомлен лучше всякого ученого инженера, и не любит инженеров.

— Мешают только. Все меряют. Сами себе, значит, не верят, — ворчит он.

Он — привычный пьяница. Ему уже за шестьдесят, но недавно он выразил желание жениться. Это повело к тому, что «братия» пригрозила: не будем пускать в церковь. Убоясь отлучения от церкви, он решил: нельзя одну запрягать — на перекладных поеду.

На щекотливые вопросы о «братии», о боге он отвечает нечленораздельным мычанием, неопределенными жестами и подмигивая.

— Начальство — свое дело делает, я — свое, — ворчит он. — Начальство меня понимает.

Начальство относится к нему благодушно и, видимо, ценит его работу. Есть в этом благодушии ирония, но она не обидна, да едва ли строитель и чувствует ее.

За обедом он крепко напился, ему стало жарко, он снял толстый серый полукафтан, и на спине его, на ситцевой рубашке, я увидел бархатный квадрат — «нараменник», по бархату шелками вышиты крест, трость, копие и — вязью — слова:

«Язвы господа моего Христа ношу на теле моем».

Когда монаха фотографировали, он, хотя и пьяный, все-таки попробовал принять позу героическую. Это не очень удалось ему.

Словецкие монахи любят выпить, вот в доказательство этого два «документа»:

НАЧАЛЬНИКУ СОЛОВЕЦКИХ ЛАГЕРЕЙ ОГПУ

Группы монахов б. Соловецкого монастыря, смиренных Трефилова, Полежаева, Мисукова, Некипелова, Казницына, Челпанова, Сафонова, Катюрина, Самойлова, Немнонова, Белозерова и других

Покорнейшее заявление

Припадая к Вашим стопам, мы, монахи б. Соловецкого монастыря, ввиду приближения праздника Пресвятой Троицы и так как двенадцатые праздники по старо-христианскому и церковному обычаю не могут быть праздниками без виноизлияния, просим Вас разрешить выдать нам для распития и услаждения 20 литров водки, в чем и подписуемся.

(подписи)

22 июня 1929 г.

НАЧАЛЬНИКУ СОЛОВЕЦКИХ ЛАГЕРЕЙ

Группы монахов бывшего Соловецкого монастыря: Коганева А. Н., Берстева Г. Д., Лопакова М. А., Пошникова Акима и других

Покорнейшее заявление

Припадая к стопам Вашим, смиренно просим разрешить нам, ввиду предстоящего праздника св. Троицы, получить из Вашего склада некоей толики винного продукта, сиречь спирта. Причина сему та, что завтра, 23 сего июня, будет двенадцатый день святых Троицы и в ознаменование такового согласно священным канонам церкви надлежит употребление винное. Всего надо 8 литров.

к сему подписуемоси

монах *Антоний М., Мих. Лопак*ов, монах *Геласий*.

22 июня.

Хороший, ласковый день. Северное солнце благосклонно освещает казармы, дорожки перед ними, посыпанные песком, ряд темнозеленых елей, клумбы цветов, обложенные дерном. Казармы новенькие, деревянные, очень просторные; большие окна дают много света и воздуха. Время — рабочее, людей немного, большинство — «социально опасная» молодежь, пожилых и стариков заметно. Ведут себя ребята свободно, шумно.

На крыльце одной из казарм стоит весьма благообразный старик. Сухое «суздальское» лицо его украшено аккуратной бородкой, на нем серый легкий пиджак, брюки в полоску, рубашка с отложным воротником, темный гал-

стук. Ботинки хорошо вычищены. Он похож на «часовых дел мастера», на хозяина галантерейного магазина, — вообще на человека «чистой жизни».

— Фальшивомонетчик? — тихонько спрашиваю.

— Нет.

— Экономический шпионаж?

— Профессиональный вор. Начал с двенадцати лет, теперь ему шестьдесят три. Через несколько месяцев кончается срок.

Старик вежливо приветствует, независимо осматривая меня и моего сына. Знакомлюсь с ним, спрашиваю: что он будет делать, кончив срок?

— У меня — своя судьба, своя профессия, — охотно и философски просто отвечает он.

Серые, холодные глаза, круглые, точно у хищной птицы, бесцеремонно и зорко осматривают меня, моего сына, секретаря. Стоит он твердо, сухое тело его стройно и, должно быть, крепко.

— Трудно вам здесь?

— Нет. По возрасту не подлежу назначению на тяжелые работы.

И, улыбаясь остренькой улыбкой, прибавляет:

— А если ошибся — плати! Так положено... Со шпаной этой, конечно, нелегко жить. Не на воле, где на них у нас управа есть. И побеседовать не с кем. Мелкота всё. А я, знаете, работал крупно. Может, помните, еще до войны, писали в газетах о краже у Рейнбота, московского градоначальника? Моя работа. А также у банкира Джамгарова, у графа Татищева... Все — я...

Усмехаясь, поглаживая бородку, он продолжает вспоминать «дней былых опасные забавы, шум успехов и улыбки славы».

— У Рейнбота засыпался. Выскочил он в ночном дезабелье, с револьвером в руках, присел за кресло, кричит и сует револьвер в воздух, а револьвер — не стреляет! Незаряжен был, или предохранитель не открыт, или другое что, — не стреляет! Ну, конечно, на крик прибежали...

Он вздохнул и поморщился, но тотчас снова расцвел.

— Смешно было смотреть на него: спрятался, кричит. А ведь военный и даже градоначальник. Неожиданность,

конечно! Неожиданность всякого может испугать, — поучительно добавляет он...

— А знаешь, Медвежатник... в Болшеве.

Старик вырос, выпрямился еще более, лицо его покрылось бурными пятнами, несколько секунд он молчал, открыв рот, ослепленно мигая, молчал и шарил руками около карманов брюк, как бы вытирая ладони. Было ясно, что он не верит, изумлен. Потом, сухо и сипло покашливая, вытянул лицо, щеки его посерели, он заговорил, всасывая слова:

— Ах, сволочь! Ссучился? Ах, сука! Такой суке — нож в живот! Повесить его надо, мерзавца! Ах ты...

Я отошел прочь. В памяти остались холодные зрачки, покрасневшие белки хищных глаз и на губах кипящая слюна. Сколько мальчишек воспитал ворами, а может быть, и убийцами этот человек за пятьдесят лет его работы, сколько людей он толкнул в тюрьмы!

Сажу в казарме. Часы показывают полночь, но не веришь часам; вокруг — светло, дневная окраска земли не померкла, и на бледносером небе — ни одной звезды. Здесь белые ночи еще призрачней, еще более странны, чем в Ленинграде, а небо — выше, дальше от моря и острова.

Широкая дверь казармы открыта, над койками летает, ластится свежий солоноватый ветерок, вносит запах леса. Большинство обитателей спят, но десятка три-четыре собрались в углу...

Биографии ребят однообразны: война и голод, «беженство» и сиротство, беспризорность, встреча с такими воспитателями юношества, как старый вор, неудачно пытавшийся «поработать» в квартире московского градоначальника. Выспрашиваю ребят, ближайших ко мне:

— Трудно вам здесь?

— Не легко.

— Прямо говори — тяжело! — советует другой.

Жалуются довольно откровенно, однако единогласия нет: то один, то другой «вносят поправки».

— Все-таки не тюрьма!

С ним соглашаются:

— Это — да!

И снова начинается «разнобой».

- На торфу тяжело работать.
- Там паек выше зато...
- Работаем по закону — восемь часов.
- Трудно осенью, на лесоразработках.
- На торф бандитов посылают теперь.
- Грамоте учат.

Человек, должно быть, не очень расположенный к наукам, говорит, вздыхая:

— Хочешь не хочшь — учись!

Эти слова тотчас вызывают эхо:

— Теперь дуракам — отставка!

По внешности — все это люди возраста от двадцати до тридцати лет. Дегенеративные лица не часты. Конечно, есть хитренькие, фальшивые улыбочки в глазах, есть подхалимство в словах, но большинство вызывает впечатление здоровых людей, которые искренно готовы забыть прошлое, добиться «квалификации». Спрашиваю костлявого, угловатого парня с темным старческим лицом, сколько ему лет.

— Восемнадцать, — говорит он неожиданно звучным голосом, а его сосед, круглолицый весельчак, торопится сообщить:

— Он с восьми лет пошел в игру.

Чувствуется, что многие решительно отмахнулись от своего прошлого и не любят говорить о нем, а если говорят о себе, то как о людях уже чужих, о людях, которых обманули. Почти каждый вставляет в речь «блатные словечки», и порою не совсем ясно, что хочет сказать человек, а иногда фраза звучит как будто двусмысленно. Но, как всегда и везде, то и дело сверкают афоризмы. Вот за спиной моей спорят вполголоса:

— Шкуру дерут...

— Кто дерет? Своя рука.

— Не зря называется: рабоче-крестьянская...

— Н-ну... Для своей — тяжела.

— А чья?

Бойкий голосок говорит:

— Тонкая кожа — ценой дороже.

Около кричат:

— Споем, ребята!

Начинают петь «Гоп со смыком» — песню о воре, который всю жизнь пил и умер со стаканом водки в руке.

Песня не ладится и мешает беседовать. Пробуют плясать, но и это не выходит. Мой сосед, крепкий, мускулистый парень, говорит, как бы извиняясь:

— Плясуны у нас есть хорошие, да спят!

Спрашиваю: любит ли он читать и что читает? Он говорит, что здесь в библиотеке интересных книг мало, а вот «на воле» он читал Марка Твена.

— Это — самый лучший писатель!

Коротконогий увалень и, судя по глазам, неглупый парень похвалил Диккенса и Джека Лондона, а через голову его кто-то одобрил Гюго. В дальнейшем утверждается, что иностранцы пишут лучше, интереснее русских. Это утверждение давно знакомо мне: лет сорок тому назад я неоднократно слышал его в такой же среде и вообще на протяжении жизни слышал эту оценку «простых» людей сотни раз. Для меня совершенно ясно и вполне естественно, что простые люди тяготеют к тому течению художественной литературы, которое, прославляя волю, способствует организации ее, будит в человеке активное отношение к жизни. Очень жаль, что наши литераторы не улавливают этого столь законного исторически и биологически позыва массы к организации ее воли, позыва, который в сущности своей скрывает все еще смутное сознание необходимости преодолеть старую действительность.

Ребята продолжают говорить о книгах. Один похвалил «Уральские рассказы» и «Три конца» Мамина-Сибиряка, другой, — с длинным лицом и лошадиными зубами, — сказал, что самый лучший писатель — Чехов. Угрюмый, широкоплечий парень заявил, что «понимает читать только историческое».

— Почему?

— Интересно знать, как прежде жили, а как теперь живут, я сам знаю лучше всякого писателя.

Сказал — и сплюнул сквозь зубы.

Эта беседа шла сквозь бойкий, оживленный говор парней... Больше всего ребят занимал вопрос: переведут ли их в Болшево и получают ли они там «трудовую квалификацию»? Шум будил спящих; вставая с коек, они протирали глаза, позевывали, подходили к нам. Снова попробовали петь.

Песни еще раз убедили меня в том, что у нас развивается любопытный процесс: героика действительности вызывает к жизни лирику — свою противоположность. Но, видимо, существует ощущение неуместности словесных лирических излияний в наши суровые эпические дни. И вот создатели песен прибегают к своеобразному и довольно ловкому приему: они берут старые песенные мотивы и вставляют в лирическую мелодию нарочно искаженные, комические слова:

Что ты, девка, ночью бродишь,
Не боишься мертвецов?

или:

Свою русою косою
Трепетала по волнам.

или:

И с пашкою в рукою,
И с винтовкою в другую,
И с песней на губе.

Все эти и подобные нелепейшие слова как будто высмеивают лирику, но на самом деле таким приемом достигается то, что лирика остается в музыке. Сергея Есенина не спрячешь, не вычеркнешь из нашей действительности, он выражает стон и вопль многих сотен тысяч, он яркий и драматический символ непримиримого раскола старого с новым.

Нашу беседу в казарме прервал молодой человек «мелкого калибра». Его довольно изящная фигурка ловко вывернулась из толпы, он вежливо поздоровался, подал мне лист бумаги, сложенный вчетверо, и заговорил о том, что «желает заслужить свой проступок». Но его речь заглушили громкие крики ребят:

— Это — шпион!

— Он не из нашей казармы.

— Он против советской власти.

А густой бас очень сердито и несколько смешно крикнул:

— Такие компрометируют нас!

Шум возматывал, внушая мне подозрение, что парни «разыгрывают» меня. Но в голосах и на лицах я слышал, видел подлинное, искреннее презрение к маленькому чловеку. Рябоватый парень, сосед мой, ворчал:

— Мы — воры, а на такие штуки не ходим.

— Ври! Бывает и с нами!

— Так — в своем кругу, чорт! Родину не прѣдаем.

Человек замолчал, поглядывая на всех спокойно, прищурив глаза. В его позе была уверенность, что люди, давая волю языкам, воли рукам своим не дадут. Да и я видел, что презрение к нему не переходит в злобу. Но, очевидно, он весьма надоел всем.

— Приходит, проповедует.

— За дураков считает нас.

Кто-то говорит прямо в ухо мне:

— Сам сознается, зачем его послали поляки.

Человек убеждал меня:

— Да, я вину свою признал... Вот прочитайте. Обещаю служить честно. Я так много пострадал...

Он как-то расстроил, перепутал все, вызвал хаос... Под шум голосов я прочитал его бумагу.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заключенного воспитанника трудовой колонии Соловецкого концлагеря.

1927 года, октября 21 дня, я приговорен Криворогской Чрезвычайной сессией к 10 годам лишения свободы в силу ст. 54—6 Украинского У.К. В преступлении я чистосердечно сознался перед судом, но преступление, совершенное мною, было лишь потому, что я совершил его по своей молодости. В 1919 году во время гражданской войны я утерял своих родителей и попал в одну из частей пулеметной команды Красной Армии набивщиком патрон в пулеметной линии, но в том же году попал к петлюровским войскам в плен, и благодаря моей молодости мне удалось сохранить жизнь. В начале 1920 года петлюровские войска эвакуировались в Польшу, в момент эвакуации мне пришлось уходить с ними, так как я был усыновлен поручиком Б... В начале 1924 года я был помещен в польскую школу и приют под назв. «Бурса УП» в гор. Варшаве. В 1925 году я был помещен в авиашколу — но на родину меня тянуло более сильным магнитом — я хотел уехать легально, — но не имел на то разрешения, мне пришлось принять поручение, данное мне.

Настоящим я даю подписку о том, что никогда преступлений делать не буду и буду заниматься исключительно честным трудом. И на основании этого прошу при совершении самого маленького преступления принять *высшую меру* (расстрел) и прошу Вас также на основании моей подписки заменить Соловки Красной Армией, колонией в Москве, а я со своей стороны даю клятву перед лицом Центрального исполнительного комитета и Коллегии ОГПУ, что буду принимать самое активное участие в работе.

Я действительно сознаюсь, что я сделал большое преступление — но я понимаю, какое я получил воспитание в Польше, — оно не со-

ответствовало воспитанию, которое я мог бы получить в теперешней советской действительности, а также понимаю все то, что сделано для меня во время пребывания в исправдоме и концлагере, а в частности, трудовой колонии. Я — молод, я — преступление совершил, но совершил лишь по своей молодости. Я прошу не отказать в вышеупомянутой просьбе и направить в Красную Армию, я с военной тактикой отчасти знаком, а остальное научусь, а если найдете возможным, то исключительно по Вашему усмотрению.

21. VI.— 29 г.

Мне сказали, что человек этот принял на себя такой «заказ»: проникнуть в комсомол, держаться линии ЦК, изучить горное и лесное дело. В комсомол он проник и вскоре «провалился».

Мы ушли из казармы. Было уже около трех часов ночи. Очень смущает это странное небо — нет в нем ни звезд, ни луны, да кажется, что и неба нет, а сорвалась земля со своего места и неподвижно висит в безграничном, пустынном пространстве мутноватого, грустного света. На западе, над морем — легкие облака, точно груды пепла. Истерически кричит чайка.

«Нужда толкает и с горы и на гору». У меня не было возможности и времени узнать, с какой высоты упало сюда, на остров, большинство уголовной молодежи, но, разумеется, высота эта не могла быть значительной; среди «островитян» преобладают малограмотные, немало и безграмотных. Все это — люди, расшатанные своим прошлым, анархизированные в детстве и отрочестве гражданской войною, голодом, «беспризорностью». Этих людей учили жить такие педагоги, каков серенький, аккуратный старичок, который хвастался своей «работой» у градоначальника, банкира, графа.

В моем отрочестве и юности я довольно близко наблюдал людей этого рода и типа. Хуже или лучше стали они? Трудно ответить на этот вопрос сквозь массу впечатлений, которая образовалась за сорок лет между прошлым и настоящим. Но все-таки мне кажется, что — хуже. Только потому должны быть хуже, что за сорок лет до нашего времени мещанство еще не торговало кокаином и другими наркотиками. Не было и тех причин анархизации моло-

дежи, которые указаны выше и явились результатом «могучего развития» буржуазной культуры.

Несомненно, они покажутся хуже, если посмотреть на них из «Мертвого дома» глазами Достоевского или из «Мира отверженных» глазами Якубовича-Мельшина. В них весьма мало похожего на «униженных и оскорбленных». И в большинстве своем они вызывают весьма определенную уверенность в том, что ими понято главное: жить так, как они начали, — нельзя. Присматриваясь к современным «социально опасным», я не могу не видеть, что, хотя труд восхождения на гору и тяжел для них, они понимают необходимость быть социально полезными. Разумеется, это — влияние тех условий, в которые они, социально опасные, ныне поставлены.

Бывший «налетчик» говорит:

— Земли и всякого угодья и раньше столько же имели, да — разум дремал. А теперь вот и здесь, на холодном острове, нашлось людям житье, все равно как и на теплой земле.

— Здесь пятьсот лет монахи жили...

— Что ж монахи? И комары живут.

Налетчик этот работает здесь кучером, правит парой холеных лошадей. Он, собственно, не «налетчик», а только «подвозил» налетчиков, будучи извозчиком-«лихачом». Таких лихачей на острове несколько человек, все они заняты своим делом.

— Работаем специально на лошадях и около, — сказал один из них.

«Мимоходом» видишь, конечно, больше, чем слышишь. О многом догадываешься по сравнению с прошлым. Расспрашивать людей, а особенно «прижатых судьбою в угол», — я не мастер, и, если сами они не говорят о себе, — молчу. Мешает еще и то, что мне кажется: в каждом из таких «прижатых» есть та или иная доля чувств, которые «во время оно» были свойственны и моему «я». Воскрешать это «я» не всегда приятно, хотя и поучительно.

В «стенгазете», на кирпичном заводе, редактора показали мне неплохую шутку:

— «Слышали — Горький приехал к нам.

— На десять лет?»

Но я думаю, что во всех морях и океанах нет острова, на котором мне удалось бы прожить еще десять лет. А суровый лиризм этого острова, не внушая бесплодной жалости к его населению, вызывает почти мучительно напряженное желание быстрее, упорнее работать для создания новой действительности. Этот кусок земли, отрезанный от материка серым, холодным морем, ошетиженный лесом, засоренный валунами, покрытый заплатами серебряных озер, — несколько тысяч людей приводят в порядок, создавая на нем большое, разнообразное хозяйство. Мне показалось, что многие невольные островитяне желали намекнуть:

«Мы и здесь не пропадем!»

Возможно, что у некоторых задор служит для утешения и преобладает над твердой уверенностью, но все же у многих явно выражается и гордость своим трудом. Это чувствуется у заведующего кожевенным заводом; он — бывший заключенный, но, кончив срок, остался на острове и работает по вольному найму.

— В обработке кожи мы отстаем от Европы, а полуфабрикат у нас лучше, — сказал он и похвалил рабочих: — Отличные мастера будут!

В Мурманске я слышал, что мы «отстаем» и в деле производства лайки, посылаем ее за границу полуфабрикатом, так же, как это делается в Астрахани с рыбьим пузырем.

Людей, которые, отбыв срок заключения, остались на острове и, влюбленные в свое дело, работают неумоимо, «за совесть», я видел несколько. Особенно значительным показался мне заведующий сельским хозяйством и опытной станцией острова. Он уверен, что Соловки могут жить своим хлебом, следит за опытами Хибинской станции с «хладостойкой» пшеницей, мечтает засеять ею триста гектаров на острове, переписывается с профессором Палладиным. Разводит огурцы, выращивает розы, изучает вредителей растений и летает по острову с быстротой птицы; в течение четырех часов я встретил его в трех пунктах, очень отдаленных один от другого. Показал конский завод, стадо отличных крупных коров, завод быкона, молочное хозяйство. Первый раз видел я конюшни и коровник, содержимые в такой чистоте, что в них совер-

иненно не слышен обычный, едкий запах. Ленинградская молочная ферма гораздо грязнее.

— Лошадей у нас пятьсот голов, но этого мало. Поросят продаем на материк, масло — тоже. Скот уже и теперь снабжает нас достаточным количеством удобрения, — говорит заведующий.

Он, видимо, человек типа таких «одержимых», уверенных в победоносной силе науки, каким был Лютер Бербанк и каков есть наш удивительный Мичурин.

— Плохой земли нет, есть плохие агрономы, — сказал он, и веришь, что это так и есть.

Тут кстати вспомнить, что на другом конце Союза Советов, около Астрахани, другой агроном с негодованием, но в то же время и с радостью убеждал меня:

— Мы хозяйствуем на земле, все еще как дикари, — хищнически, грубо. Вы представить себе не можете, как отчаянно истощает почву крестьянин убожеством своей обработки, это, знаете, — государственное бедствие! И вообще — ужас! Совершенно не утилизируются отбросы городов, сотни тысяч тонн окиси фосфора — крупнейшее богатство! — бесплодно погибает в помойных ямах, — вы понимаете? — сотни тысяч тонн фосфора, а? А ведь он взят у земли и его необходимо возвращать ей, — понимаете?

Из всего, о чем он пламенно говорил, я хорошо почувствовал одно: это говорит талантливый человек, хороший работник. Таких, как этот, я встретил несколько человек. Это крепкая, здоровая молодежь — значительнейшая культурная сила нашей страны. Большое дело делают эти люди, работа их заслуживает серьезнейшего внимания и всемерной помощи.

Заразителен их пафос, когда они рассказывают о росте «рентабельных культур», о кендыре, кенафе, люфе, о рисосеянии, о культуре хлопка в Астраханской области и на Украине, о шелководстве.

Руководитель астраханской опытной станции, обоженный солнцем человек, которому очень надоели посетители, мешающие работать, с победоносной улыбкой рассказывал о жадности, с которой крестьяне взялись за культуру кенафа.

— Хватают! Умнеет мужичок. Гектаров тысячу засеяли уже.

Работать советскому агроному приходится много, спрос крестьянства на его труд и знания быстро растет. Удивляешься, когда успевают молодые агрономы-практики следить за наукой, — но, видимо, следят, я решаюсь сказать это потому, что слышал их суждения о «Геохимии» В. И. Вернадского.

Расскажу, как один из агрономов сконфузил меня. Это было в Сорренто. Я чистил дорогу к заливу, когда ко мне подошел розовощекий, светловолосый и чистенько одетый молодой человек. Мне показалось, что это — норвежец, швед или датчанин. Рассчитывая отдохнуть от работы пером на работе лопатой и граблями, я встретил его не очень любезно. Но он заговорил по-русски. Значит — служащий торгпредства, получил отпуск, путешествует. И снова я ошибся: он — украинец, работает по культуре винограда на Кубани, командирован изучать виноградарство в Европе, был на Рейне и Мозеле, в Шампани и Бордо, обследовал Тоскану и вот явился сюда, на юг. Естественно было спросить его: какого же он мнения о виноградарстве Италии? Спросил. И в ответ юноша с изумлением произнес горячую речь, свирепо издеваясь над итальянской культурой винограда. Окончательный его вывод был прост, как шар: никакой культуры винограда в Италии нет.

— Можно только удивляться терпению здешней лозы и плодородию почвы, а крестьяне-виноградари — варвары, — так, приблизительно, сказал он. Это совпадало с моими небогатыми наблюдениями, но все же я подумал, что юноша чрезмерно свиреп и немножко смешно заносчив.

— Сколько вам лет? — осведомился я.

— Двадцать шесть.

— Давно работаете в этой области?

— Четвертый год.

— Вам, вероятно, известно, что культура винограда насчитывает здесь за собою тысячи две лет?

— Ну, что же! И пшеницу давно сеют, но ведь тоже плохо, — сказал он, вздохнув, и — покраснел. А затем ошеломил меня:

— Вы полагаете, что я горячусь по молодости моей? Нет, видите ли, у меня уже кое-какие работы напеча-

таны на немецком языке, я вам пришлю, если интересуетесь...

Прислал. Мне перевели его работы на русский язык, узнал я и оценку их компетентными людьми. Очень смущен моим недоверием к нему и нелюбезным приемом. Но — зачем он так возмутительно молод!

Возвращаясь на Соловецкий остров, должен отметить заведующего питомником чернобурых лисиц, песцов и соболей. Он тоже бывший заключенный и тоже «схвачен делом за сердце». Зверей своих трогательно любит, любитесь ими и заставляет любоваться. — «Нет, смотрите — очень красивы!»

Сумел приручить даже такое недоверчивое, злое существо, какова лиса, — она влезает на колени, на плечо ему, берет пищу из рук и не прячет, не загоняет детенышей свои в нору, когда к ее клетке подходят люди. Совершенно изумительная бесшумная, нервозная быстрота движений лисы и ее зоркая, напряженная, умная заботливость о буйном потомстве, тоже поражающем неуловимой стремительностью движений. Тупомордый, коротконогий песец, с его круглыми ушами, более спокоен и кажется более зверем, чем лиса, да и глаза у него не такие умные.

Питомник устроен на отдельном острове, до него нужно ехать в лодке более часа по сизой, холодной воде Глубокой губы — пролива между островами. Гребли два бандита, на носу фальшивомонетчик. Бандиты, видимо, люди угрюмого характера, убийца — большой, бородатый, толстогубый, с полуоткрытым ртом и гнилыми зубами, глаза у него странно-пустые, как будто лишены зрачков. Фальшивомонетчик — худенький, остроносый, все время тихонько чмокал, как будто понукая лошадь, — подумалось, что ему кажется: едет ночью лесом и боится всех звуков, даже чмокнуть громко боится. У него лицо доброго человека, которому, впрочем, «наплевать на все».

Питомник — целый город, несколько рядов проволочных клеток, разделенных «улицами», внутри клеток домики со множеством ходов и выходов, как норы, в каждой клетке привычная зверю «обстановка», деревья, валежник. Не все звери прячутся от людей, лишь некоторые лисы заго-

няют детенышей в домики-норы. Соболиха, у которой взяли кутенка, бешено заметалась по клетке, прячась в куче валежника, высовывая из него некрасивую, конусообразную голову, фыркая, оскаливая острые, щучьи зубы.

— Очень дикий зверь, — любовно говорит заведующий. И затем — с гордостью: — Видите — принес детеныша! Первый случай. Американцам еще не удалось получить потомство от соболя.

Он кормит малышей рыбой, некоторым из них вливает в глотки лекарство, и, проглотив его, они, мотая головенками, прыгают, точно мячи. Матерей это, видимо, не беспокоит.

Заведующий рассказывает о характерах зверей, о капризах самцов.

— Вот — видите: мы его посадили к этой самочке, а он равнодушен к ней, он, видите, интересуется ее соседкой, хотя она не такая крупная, как эта. Как люди, а?

Он тихонько смеется, а я вспоминаю Шопенгауера: если «маленькие мужчины любят больших женщин», очевидно, большие должны любить маленьких. Заведующего сопровождает женщина-ветеринар, две студентки, приехавшие на практику звероводства, рабочие и неизбежный, вездесущий фотограф. Эти люди, жена заведующего и еще один рабочий — все человеческое население острова. Прием чай и возвращаемся на большой остров. Холодно. С моря дует неласковый ветерок, озорниково нагоня волны на борт лодки. Над нами летает чайка. Иногда с воды поднимаются утки, пролетят недалеко и снова тяжело падают на воду, точно окрыленные камни.

Рядом со мною сидит человек из породы революционеров-«большевиков» старого, несокрушимого закала. Я знаю почти всю его жизнь, всю работу, и мне хотелось бы сказать ему о моем уважении к людям его типа, о симпатии лично к нему. Он, вероятно, отнесся бы к такому «излиянию чувств» недоуменно, оценил бы это как излишнюю и, пожалуй, смешную сентиментальность.

Молочным хозяйством заведует старый священник, кажется, протоиерей. Большой, благообразный, он солидно говорит о сепараторах, казеине, молочном сахаре, щелочных солях. На бородастом лице его сосредоточенно светятся

под седыми бровями глаза человека, который давно остановился где-то очень далеко от людей и едва ли видит их такими, каковы они есть.

В просторном помещении как-то особенно чисто и прохладно. За стеклом шкафа, на полочках, ряд пробирок, колбочки, какие-то металлические вещицы. Рядом с этой «лабораторией», отделенный от нее узким коридором, — холодильник, в нем, на льду, огромные куски масла, корчаги творога.

— Добыча дня, — говорит священник, ударяя на в. Он живет тут же, рядом с лабораторией, в маленькой комнатке; в ней много икон, горит лампада, на столе — несколько церковных старопечатных книг, у стены — постель; в общем это — типичная келья монаха.

— Знающий человек, хорошо работает, — говорят мне.

Такой же отзыв услышал я о заведующем конским заводом, бывшем офицере Колчака. Показывая лошадей, он говорил о каждой так подробно и напористо, точно хотел добиться, чтоб лошадь поблагодарили за то, что она такова.

— Вы, конечно, не кавалерист, — с большим сожалением сказал он одному из посетителей, и было ясно, что он говорит: «Понять, что такое — конь, вы, конечно, не способны, несчастный!»

Затем он показал борова весом 432 килограмма, существо крайне отвратительное, угрюмо самодовольное. Его тяжестью и способностью к размножению свиней весьма гордятся. Свиней — очень много, и, как везде, они, видимо, вполне довольны жизнью, но, разумеется, — хрюкают.

В кустарной мастерской десятка три людей делают различные шкатулки, коробочки. Старинное мастерство монахов — «туеса», «поставцы», игрушки из бересты, вырезанной, точно кружево, с разноцветной фольгой, подложенной под бересту, — это мастерство, очевидно, забыто. Жаль. Иностранцы, падкие на «варварское, но прекрасное искусство русского народа», покупали бы эти вещи так же «нарасхват», как они покупают все подобное, начиная с изумительных по красоте работ палеховских мастеров, бывших «богомазов». Работой из фольги и бересты можно бы занять женщин — это весьма «тонкая» работа.

Посвистывают, сопят и фыркают маленькие паровозы, таская по узкоколейкам лес, торф, шпалы, прокладываются новые пути, люди роют землю, дробят булыжник, месят бетон, рубят дерево, на крыше электростанции шипит какая-то трубка. Едут молодцеватые пожарные, «проминающая» застоявшихся лошадей.

На большой поляне идет выработка торфа, здоровые ребята в холщовых рубахах и высоких сапогах быстро, лопатами, бросают в машину огромные куски жирной грязи, машина выпускает ее толстой лентой, ленту рубят на куски, отвозят их на тачках прочь, раскладывают по земле, — все идет «без сучка, без задоринки». Мне говорят:

— Обратите внимание на сапоги рабочих!

Обращаю. Сапоги, конечно, очень грязные. Но мне объясняют, что они — из кожи, не пропускающей сырость. В доказательство сего один из рабочих снимает сапог, — портянка действительно сухая. Узнаю, что кожа пропитывается водой, отходящей при выработке смолы; молекулы смолы, остающейся в воде, поглощаются кожей, делают ее более ноской и не пропускающей сырость.

— Сами придумали!

— А не годится ли это для брезентов, для обуви армии и так далее?

— Неизвестно, не пробовали! Много у нас есть такого, что в одном месте — делают, а в других — не пробуют делать. Мало мы знакомы со всем разнообразием работы в нашей стране и с достижениями изобретательства в различных областях труда.

На торфе работает немало женщин в серых халатах, они же ворошат сено, неподалеку от разработки торфа. Там они одеты «в свое», довольно пестро, и вызывают очень странное впечатление, — глядя на них, я вспомнил «Сказание о сенокатех» Лескова.

В женском двухэтажном общежитии, должно быть, монастырской гостинице, старостихой оказалась женщина из семьи, одним из членов которой был знаменитый в свое время французский карикатурист Каран д'Аш. Брат его командовал судном добровольного флота «Нижний-Новгород», сестра была актрисой, кажется, Александринского театра, а третий брат служил поваром у нижегородского губернатора Баранова и за искусство жарить тетеревов на-

значен был сначала околоточным надзирателем, а затем — помощником частного пристава.

Старостиха показывает нам комнаты женщин, в комнатах по четыре и по шести кроватей, каждая прибрана «своим», — свои одеяла, подушки, на стенах — фотографии, открытки, на подоконниках — цветы, впечатления «казенщины» — нет, на тюрьму все это ничем не похоже, но кажется, что в этих комнатах живут пассажирки с потонувшего корабля.

В верхнем этаже общежития, должно быть, сосредоточены женщины, работающие «по линии культуры»: в театре, музее. Мне сказали, что большинство их контрреволюционерки, есть и осужденные за шпионаж.

Партийных людей, — за исключением наказанных коммунистов, — на острове нет, эсеры, меньшевики переведены куда-то. Подавляющее большинство островитян — уголовные, а «политические» — это контрреволюционеры эмоционального типа, «монархисты», те, кого до революции именовали «черной сотней». Есть в их среде сторонники террора, «экономические шпионы», «вредители», вообще «худая трава», которую «из поля — вон» выбрасывает справедливая рука истории.

В комнатах верхнего этажа женщин было немного, — пять, шесть, остальные, вероятно, где-то работали. В нижнем их оказалось значительно больше, и, судя по одежде, по обстановке, они были «попроще». Одна из них, молодая, пышнотелая, с большими глазами, встретила старостиху злым криком:

— Опять пришла, проклятая! Что же это, товарищи, вы ставите над нами интеллигенток? Как это...

Из ее темных глаз легко и обильно потекли слезы. Пожилая женщина с длинным носом на сером лице начала пренебрежительно успокаивать ее:

— Ну, что скандалишь, чем тебе люди мешают? Радоваться должна... — И, обращаясь к нашей группе, — объяснила:

— Нервы у нее, срок она кончила, сегодня домой едет, ну, вот и шумит...

Молодуха, разговаривая, уже улыбалась и, смахивая слезы со щек, обнаружила на белой коже руки, ниже локтя, сложную, весьма неблагочестивую татуировку.

— Это что у вас?

— Ну, не видишь будто! Наколочка, — кокетливо ответила она, смеясь, и этот ее слишком быстрый переход от слез к смеху вызвал сомнение в искренности и смеха и слез. А носатая женщина угодливо объясняла:

— Дурашливая она, а — хорошая, добрая...

— За что она здесь? — тихо спросил кто-то за моей спиной, — носатая не успела ответить, рядом с нею очутилась высокая, костлявая, в белом платочке до бровей, платок резко оттенял черные, круглые глаза.

— Мы этим не интересуемся, — заговорила она тоже тихо. — У всякой свое клеймо. Клеймят и клеймят, а — за что? Это никому, кроме бога, не известно...

Тут вступилась молодуха:

— Ты — не знаешь, за что тебе хвост прищемили, не знаешь? — иронически спросила она.

Мы все вышли из комнаты. В коридоре признала меня земляком дородная баба, лет за сорок, с жестяными глазами на толстом лице.

— Чай, слышали про нас, — она назвала незнакомую мне фамилию, — мы тоже заметные люди были в Нижнем-то! Помните поговорочку: «Чай, примечай, откуда чайки летят?»

В одну минуту она, усмехаясь, мигая, рассказала бойко, точно базарная торговка:

— На десять годков сюда послали, — пошутил господь! Будто рабочих выдавала я, жандаров прятала в осьнадцатом году, что ли, а — неверно это, неправда все, наговорили на меня злые люди! Ну, ничего, потерплю...

— Трудно вам здесь?

— Везде трудно, — осторожно ответила она и повторила: — Пошутил господь, терпенье мое испытывает. Ну, я — здоровая, душой веселая...

Говоря, она привычно играет остреньким взглядом жестяных глаз, они холодно шупают человека, точно ищут, куда лучше ударить. Она заставляет меня вспомнить много таких же — по внешности, по глазам. И одну такую на скамье подсудимых нижегородского окружного суда, «каменноподзащитную» моего патрона. Председатель спросил ее:

— Итак: вы не признаете, что сидели на ногах племянника, когда ваш сожигатель душил его?

— Господин судья, ваше превосходительство! Оговорил он меня, сожигатель, и оттого — помер, совесть, конечно, замучила! Кроме его — виновных нет в этом деле, а я за всеобщей в церкви была.

— Установлено, что племянник ваш задушен после всеобщей; в девять часов его видели еще живым.

Перекрестясь и вздохнув, подсудимая говорит:

— Не обижайте беззащитную, ваше превосходительство! Разве можно, помолясь богу, человека душить?

Но беззащитная женщина именно так и поступила: помолилась богу, а затем, придя домой, помогла приказчику, любовнику своему, удушить племянника-гимназиста, — смерть его делала «беззащитную» наследницей солидного имущества. А когда приказчика арестовали — она послала в тюрьму для него пирожок, отравленный каким-то ядом, приказчик съел его и помер, но успел подробно рассказать о преступлении. Из его показания была прочитана в суде, между прочим, такая фраза:

«Я душил, а она молитву читала».

Были мы на концерте в театре, он помещается в кремле, устроен, должно быть, в расширенном помещении бывшей «трапезной». Вместает человек семьсот и, разумеется, «битком набит». «Социально опасная» публика жадна до зрелищ, так же как и всякая другая, и так же, если не больше, горячо благодарит артистов.

Концерт был весьма интересен и разнообразен. Небольшой, но хорошо сыгравшийся «симфонический ансамбль» исполнил увертюру из «Севильского цирюльника», скрипач играл «Мазурку» Венявского, «Весенние воды» Рахманинова; неплохо был спет «Пролог» из «Паяцев», пели русские песни, танцевали «ковбойский» и «эксцентрический» танцы, некто отлично декламировал «Гармонь» Жарова под аккомпанемент гармоники и рояля. Совершенно изумительно работала труппа акробатов, — пятеро мужчин и женщина, — делая такие «трюки», каких не увидишь, и в хорошем цирке. Во время антрактов в «фойе» превосходно играл Россини, Верди и увертюру Бетховена

к «Этмонту» богатый духовой оркестр; дирижирует им человек бесспорно талантливый. Да и концерт показал немало талантливых людей. Все они, разумеется, «заключенные» и работают для сцены и на сцене, должно быть, немало. Не знаю, как часто устраиваются такие обширные концерты, как тот, в котором я был. На афише сказано: «Театр 1 отделения», очевидно, театр «2 отделения» ставит пьесы или же существуют два театра.

Пьес я не видел, но видел фотографии постановок «Декабристов», «Разлома». Постановки, видимо, интересные и в стиле весьма левом, сцена загромождена различными «конструкциями», и все вообще — «как в лучших театральных домах», где иногда — вместо искусства — публике показывают со сцены стилизованный кукиш.

В кремле Соловецкого острова, кроме театра, сосредоточены школы, довольно богатая библиотека и музей, отлично организованный Виноградовым, тоже бывшим заключенным, автором интересного исследования о «Соловецких лабиринтах», таинственном остатке древнего язычества. Музей, показывая историю Соловецкого монастыря, дает полную картину разнообразного хозяйства СЛОН-а — «Соловецкого лагеря особого назначения». Ведется на острове краеведческая работа, печатается журнал, издавалась газета, но издание ее на время прекращено.

Конечно, остров — не тюрьма, но, разумеется, с него — не убежать, хотя газеты эмигрантов и печатают статейки, озаглавленные: «Бегство из Соловоков». В одной из таких статей сказано: «Отойдя 26 километров от места работы, беглецы...» На острове, который имеет 24 километра длины и 16 ширины, совершенно невозможно отойти «от места работы» на 26 километров. Даже эмигрант поймет, что в этом случае беглецы попадают в воду Онежского залива или в море, а, как известно, только «пьяным море по колено», но и это ведь нельзя понимать буквально. По волнам залива тоже невозможно пройти пешком 64 километра.

«Бегают» — точнее: уходят — островитяне с материка, из «командировок», уходят редко и почти всегда неудачно. На материке они работают во множестве по расчистке лесов, по лесозаготовкам, по осушению болот, по созданию

условий для колонизации пустынного, но изумительно богатого края. Работают под наблюдением своих же товарищей. Одного из таких стражей я видел по дороге из Кемь в Мурманск. Наш поезд остановился далеко от станции, — впереди чинили мост, опушку болотистого леса, живо собрали кучу сушняка, человек с курчавой бородой, похожий на В. Г. Короленко, зажег коробку из-под папирос, сунул ее под сушняк и сказал верхневолжским говорком:

— Нуко-сь, посушим небо-то!

В сыроватое, недалекое небо взвился густой бархатный дым, а человек сразу дал понять, что он много костров разжигал на своем веку. Люди присели вокруг огня на валуны, на рассыпанных старых шпалах, кто-то, подходя, спросил:

— Комарей жарите?

Очень заметно, что «простой» русский человек читает газеты. Ему хорошо известно почти все, чем наполнено время, мир для него стал шире, яснее, и в широте мира начинает он чувствовать себя большим человеком. Он спрашивает:

— Ну, а как там — в Италии?

Завязалась интересная беседа, и тут из леса вышел человек с винтовкой, в шинели, но — мало похожий на красноармейца, не так аккуратно одет и не такой ловкий, легкий. Шинель — старенькая, расстегнута, под нею пиджак, подпоясанный ремнем. Фуражка измята, винтовку он держит, как охотник, — под мышкой, дулом вниз. Лицо — темное, и как будто он давно не умывался; брови досадливо и устало нахмурены. Попросил папироску, а когда ему дали — сказал:

— Свои уронил в воду. Ой, много болота здесь!

— Ты откуда?

— Воронежский.

— Ваши места — сухие.

Человек сел на камень, винтовку зажал в коленях и, покуривая, задумчиво глядя в огонь, спросил нехотя, скучно:

— Не видали, по пути, двоих?

— Гораздо больше видели, — усмешливо ответил мастер разжигать костры, а дорожный сторож, крепкий, маленький человек, с шерстяным лицом и трубочкой в углу рта, участливо объяснил:

— У него двое товарищей с работы ушли, вот в чем дело! Тут кругом, в лесу, соловецкие работают, а он — тоже из них. Теперь ему отвечать придется...

— Отвечать есть кому старше меня, — сердито вставил человек с винтовкой.

— Ну, они, конечно, вернутся, всегда вертаются! В лесах этих долго не нагуляешь, комар — не товарищ, кушать нечего, ягодов еще нету, да и поселенец гуляющих не любит...

— Часто уходят? — спросили человека с винтовкой.

— Бывает, — сказал он, вздохнув, но тотчас же усмехнулся. — В лесу, знаете, прискорбно, а тут все больше городской народ работает, к лесу не привычный.

Словоохотливый сторож тоже рассказывает что-то военнопленному австрийцу, который оброс семьей и укрепился в этом краю. Стражник, бросив окурочек в огонь, продолжал:

— Бывает — по глупости плутают, черти! Иной, с устатку, заснет где-нибудь, проспит до конца работы, проснется, а — тихо, никакого звука нет и — сумрак, прискорбно. Ну, и пошел шагать, куда страх ведет...

Кто-то посоветовал:

— В трубу трубить надо.

— Всю ночь трубить?

— Ну колокол, что ли...

От улыбок лицо человека стало светлее, он как бы незаметно умылся. Теперь видно, что лицо у него добродушное, темные глаза смотрят на людей мягко и доверчиво.

— За побег строго наказывают? — спросили его.

— А — не хвалят.

— Ежели тебе доверие оказано — должен оправдать, — вмешался сторож, а человек, похожий — бородой — на Короленко, сказал, вздохнув:

— Все еще темно в мозгах.

— Ох, темно! — подтвердила женщина с ребенком на руках.

— Не хвалят, — повторил человек с винтовкой, вставая, и тяжелыми шагами пошел в сторону станции.

— У них, надо понимать, порука, — заговорил сторож. — Их учат: отвечай все за каждого.

— Так и надо! — скрепил бородатый.

Поезд стоял часа два, если не больше; люди у костра сменялись, уходили одни, подходили другие, но почти не было пустых людей, которые ничего интересного не могут сказать.

Буржуазная наука говорит, что преступление есть деяние, воспрещенное законом, нарушающее его волю путем прямого сопротивления или же путем различных уклонений от подчинения воле закона. Но самодержавно-мещанское меньшинство, командуя большинством — трудовым народом, — не могло, не может установить законов, одинаково справедливых для всех, не нарушая интересов своей власти; не могло и не может, потому что главная, основная забота закона — забота об охране «священного института частной собственности» — об охране и укреплении фундамента, на котором сооружено мещанское, классовое государство.

Чтобы прикрыть это противоречие, буржуазная наука пыталась даже обосновать и утвердить весьма циничское учение о «врожденной преступности», которое разрешило бы суду буржуазии еще более жестоко преследовать и совершенно уничтожать нарушителей «права собственности». Попытка эта имела почву в беспощадном отношении мещан к человеку, который, чтоб не подохнуть с голода, принужден был воровать у мещан хлеб, рубашки и штаны.

Я говорю это не «ради шутки», а потому, что заповедь «не укради» нарушалась и нарушается неизмеримо более часто, чем заповедь «не убий», потому что самым распространенным «преступлением против общества» всегда являлось и является мелкое воровство, в дальнейшем воров — как известно — воспитывает в грабителей буржуазная система наказания — тюрьма.

Учение о врожденной преступности было разбито и опровергнуто наиболее честными из ученых криминалистов, главным образом — русскими. Но в «духовном оби-

ходе» мещанского общества, то есть в классовом инстинкте его, отношение к преступнику как неисправимому, органическому врагу общества остается непоколебимым, и тюрьмы европейских государств продолжают служить школами и вузами, где воспитываются профессиональные правонарушители, «спецы» по устрашению мещан, ненавидимые мещанством, «волки общества», как назвал их недавно один прокурор в суде провинциального городка Германии.

Разумеется, я не стану отрицать, что существуют благочестивые звери, которые душат людей с молитвой на устах. Бытие таких зверей вполне оправдано в государствах, где жизнь человека равна нулю, где самодержавно командующее мещанство безнаказанно истребляет миллионы рабочих и крестьян, посылая их на международные боины с пением гимна: «Спаси, господи, люди твоя»...

В Союзе Социалистических Советов признано, что «преступника» создает классовое общество, что «преступность» — социальная болезнь, возникшая на гнилой почве частной собственности, и что она легко будет уничтожена, если уничтожить условия возникновения болезни — древнюю, прогнившую, экономическую основу классового общества — частную собственность.

Совнарком РСФСР постановил уничтожить тюрьмы для уголовных в течение ближайших пяти лет и применять к «правонарушителям» только метод воспитания трудом в условиях возможно широкой свободы.

В этом направлении у нас поставлен интереснейший опыт, и он дал уже неоспоримые положительные результаты. «Соловецкий лагерь особого назначения» — не «Мертвый дом» Достоевского, потому что там учат жить, учат грамоте и труду. Это не «Мир отверженных» Якубовича-Мельшина, потому что здесь жизнью трудящихся руководят рабочие люди, а они, не так давно, тоже были «отверженными» в самодержавно-мещанском государстве. Рабочий не может относиться к «правонарушителям» так сурово и беспощадно, как он вынужден отнестись к своим классовым, инстинктивным врагам, которых — он знает — не перевоспитаешь. И враги очень усердно убеждают его в этом. «Правонарушителей», если они — люди его класса — рабочие, крестьяне, — он перевоспитывает легко.

«Соловецкий лагерь» следует рассматривать как подготовительную школу для поступления в такой вуз, каким является трудовая коммуна в Болшеве, мало — мне кажется — знакомая тем людям, которые должны бы знать ее работу, ее педагогические достижения. Если б такой опыт, как эта колония, дерзнуло поставить у себя любое из «культурных» государств Европы и если б там он мог дать те результаты, которые мы получили, — государство это било бы во все свои барабаны, трубило во все медные трубы о достижении своем в деле «реорганизации психики преступника» как о достижении, которое имеет глубочайшую социально-педагогическую ценность.

Мы, — по скромности нашей или по другой, гораздо менее лестной для нас причине? — мы не умеем писать о наших достижениях даже и тогда, когда видим их, пишем о них. Об этом неуменье я могу говорить вполне определенно, опираясь на редакционный опыт журнала «Наши достижения».

Вот, например, работа Болшевской трудкоммуны. Это один из фактов, которые требуют всестороннего и пристального, смею сказать — научного, наблюдения, изучения. Такого же изучения требуют трудкоммуны «беспризорных». И там и тут совершается процесс коренного изменения психики людей, анархизированных своим прошлым; социально опасные превращаются в социально полезных, профессиональные «правонарушители» — в квалифицированных рабочих и сознательных революционеров.

Может быть, процесс этот, возможно, и следует расширить, ускорить, может быть, Бутырки, Таганки и прочие школы этого типа удастся закрыть раньше предполагаемого срока?

Болшевская трудкоммуна черпает рабочую силу в Соловецком лагере и в тюрьмах. Соловки, как я уже говорил, — крепко и умело налаженное хозяйство и подготовительная школа для вуза — трудкоммуны в Болшеве.

Мне кажется — вывод ясен: необходимы такие лагеря, как Соловки, и такие трудкоммуны, как Болшево. Именно этим путем государство быстро достигнет одной из своих целей: уничтожить тюрьмы.

Здесь кстати будет сказать о хозяйственном росте трудкоммуны в Болшеве. В 28 году я видел там одноэтаж-

ный корпус фабрики трикотажа, в 29 — фабрика выросла еще на один этаж, оборудованный станками самой технически совершенной конструкции. В 28 — яма для фундамента фабрики коньков, в 29 — совершенно оборудованная, одноэтажная светлая и просторная фабрика с прекрасной вентиляцией. Кроме всего количества коньков, потребных для страны, фабрика будет вырабатывать малокалиберные винтовки. И те и другие ввозились из-за границы. За год построено отличное, в четыре этажа, здание для общежития членов трудкоммуны. Строится еще четыре таких же.

Трудкоммуна строит склады для своей продукции из своего материала — из древесной стружки, прессованной с продуктом, который добывается из «рапы», — грязи соляных озер. Это — огнеупорный строительный материал, из него уже построено и несколько жилых домов. В колонии строится здание для клуба, театра, библиотеки. К ней проведена ветка железной дороги. Сделано еще многое. И, когда видишь, сколько сделано за двенадцать месяцев, с гордостью думаешь:

«Это сделано силами людей, которых мещане морили бы в тюрьмах».